

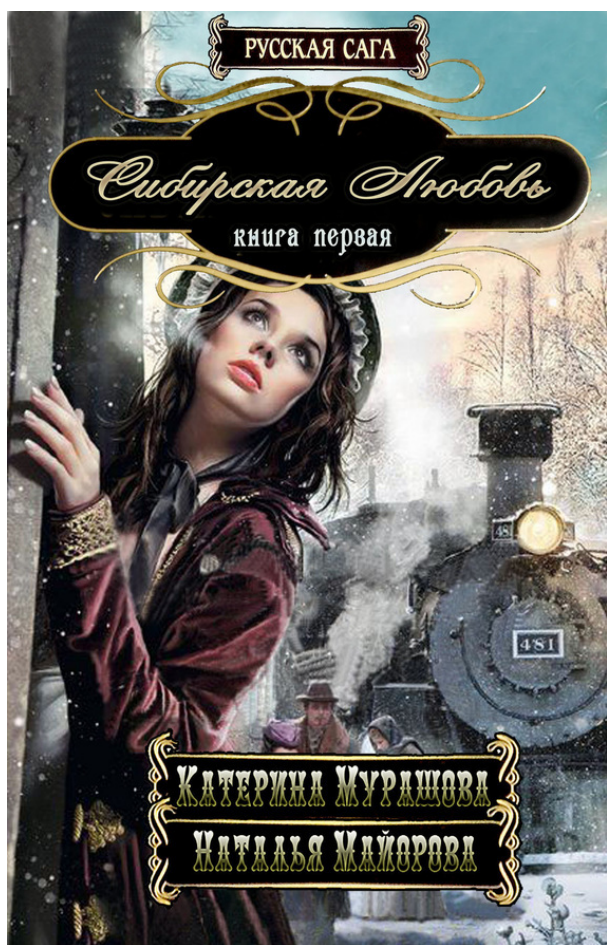
РУССКАЯ САГА

Сибирская Любовь

книга первая

КАТЕРИНА МУРАШОВА

НАТАЛЬЯ ЖИЖОРОВА



Сибирская любовь

Екатерина Мурашова

Сибирская любовь

«Автор»

2015

Мурашова Е. В.

Сибирская любовь / Е. В. Мурашова — «Автор»,
2015 — (Сибирская любовь)

Сибирские каторжники и петербургские аристократы, золотопромышленники и аферисты, народовольцы и казаки, верность и обман встречаются вместе на страницах этого романа. В 1882 году в Петербурге из-за долгов застрелился дворянин Павел Петрович Домогатский. Большая семья осталась совершенно без средств к существованию. Мать семейства надеется поправить дела за счет выгодного замужества старшей дочери, любимицы покойного отца – шестнадцатилетней Софи. Но у самой Софи – совершенно другие планы. Безответно влюбленная в обаятельного афериста Сержа Дубравина, она бежит за ним в Сибирь, где и попадает в конце концов в маленький городок Егорьевск, наполненный подспудными страстями. Помимо прочих здесь живет золотопромышленник Иван Гордеев, который, зная о своей близкой смерти, задумал хитрую интригу: выписать из Петербурга небогатого дворянина-инженера и по расчету женить его на приданом своей хромоногой дочери Маши. Маша об этом замысле отца ничего не ведает и собирается уходить в монастырь. Пережив множество разочарований, Софи оказывается в центре местных событий и – о чудо! – вдруг узнает в приехавшем инженеру Опалинском своего пропавшего возлюбленного Дубравина... В конце концов Софи возвращается в Петербург, и на основе писем к подруге сочиняет роман о своих сибирских приключениях, который имеет неожиданный успех.

© Мурашова Е. В., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Пролог	5
Глава 1	9
Глава 2	18
Глава 3	21
Глава 4	26
Глава 5	35
Глава 6	47
Глава 7	53
Глава 8	60
Глава 9	67
Глава 10	74
Глава 11	81
Глава 12	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Екатерина Мурашова, Наталья Майорова

Сибирская любовь

Пролог

В котором петербургская барышня признается в любви, а два неназванных молодых человека охотятся. Оба этих события (незначительных на первый взгляд) происходят одновременно и представлены читателю лишь потому, что в дальнейшем из них проистекнут самые неожиданные следствия

1883 г. от Р. Х., июля 26, три часа пополудни. С-Петербург

– Пойдите! Да пойдите же! Сергей Алексеевич! Ведь вы же не можете вот так уйти! Уйти, не сказав мне... – слова в полутьме гостиной падали глухо, словно капли воды на клочок ваты.

Девушка не помнила себя. На мгновение Сержу показалось, что сейчас она бросится вслед, уцепится за рукав, фалды щегольского сюртука, воротник – докуда достанет, что подвернется. Молодой человек передернулся от нешуточного страха и желания немедленно закончить затянувшуюся, тягостную сцену. Притом мозг его, как бы сам собой, холодно и беспристрастно оценивал находящуюся в гневе визави. Очаровательна! Без сомнения, очаровательна и очень... очень перспективна! Еще год-другой в свете, чуть больше владения собой и осознания своей женской силы...

Узкая ступня в вишневой туфельке нетерпеливо пристукивает по паркету, темно-серые глаза гневно блестят, непокорные локоны падают на не слишком высокий, но чистый лоб...

– Что же я должен сказать вам, Софи? Желаете еще комплиментов? Извольте, повторю вслед. Итак...

– Но ведь вы же... вы же... – девушка некрасиво оттопырила нижнюю губу и сжала кулачки. Видно было, что вот сейчас она разрыдается или закричит.

Серж поморщился. Этого только не хватало! Случись так, долг воспитанного человека, друга дома – утешать плачущую девушку, но что-то он не видал, чтобы от светских утешений была при истерике хоть какая польза. Вот хорошая оплеуха – другое дело! Но не может же он... Черт побери! Зачем только он поддался на уговоры этой красивой горничной, как ее... Веры, кажется. «Госпожа непременно желает вас видеть! Ей нужно сказать вам всего два слова!» Сентиментальный дурак! Сам во всем виноват! Поперся утешать несчастную девочку! Как будто мало своих, *настоящих* дел, которые уж на пятки не только наступают, но и того гляди поджаривать начнут!

– Что ж, Софья Павловна! Покорнейше прошу извинить, – пробормотал он, заметив, что девушка будто застыла, отчаянно пытаюсь справиться с собой. – Теперь откланиваюсь. Дела-с. Весьма рад был повидаться. Надеюсь...

– Сережа! – прошептали вслед потрескавшиеся, темно-красные, почти в цвет туфелек губы. – Вернитесь! Ведь я люблю вас!

Шепот был едва слышен, но в голове молодого человека словно колокол ударил. Решительно обернувшись, он шагнул назад, пересек комнату, взял в ладони маленькие горячие руки.

– Софи! – стараясь говорить внушительно и «взросло», он насупил брови и наморщил лоб, отчего сразу же стал выглядеть слегка смешным и похожим на крупного щенка-помесь. – Я знаю, вы Пушкина Александра Сергеевича начитались и прочих, иже с ним, поэтов. Так вот... Поймите, вы – не Татьяна, а я уж, тем паче – не Онегин. То все неправда, и вы все придумали. Вам шестнадцать лет, и любить охота. Это я понять могу. Но обо мне вы не знаете ничего, и видели от силы раз пять. А лучше вам и не знать, поверьте, я правду говорю. Так что – какая может быть меж нами любовь!

– Но вы же любите меня! – отчаянно вскрикнула Софи. – Я знаю! Я видела, как вы смотрели на меня! Вы сами сказали, что я разбила вам сердце!

– Софи! Софи! Девочка моя! – совсем забросив ухватки записного жуира и волокиты, Серж глядел на нее сверху вниз с выражением напряженного и искреннего сочувствия. – Как можно так! Вы ж столбовая дворянка, из общества! Нельзя же – светскую куртуазность принимать за... Я ж и предположить не мог...

– Значит, вы все врала?! – Софи с силой вырвалась из рук молодого человека, отскочила к окну и, скрестив руки на гневно колышущейся, вполне оформившейся груди, подобно Зевесу, метала в него молнии взглядов. – Я вам вовсе не нравлюсь?!

– Ну почему же? Вы и вправду прелестны, и живость ваша очаровательна, и ваши глаза...

– Прекратите, замолчите немедленно! – из глаз, так и оставшихся непоименованными, брызнули крупные, прозрачные слезы.

«Как у клоуна в цирке, – отстраненно подумал Серж. – У них в карманах такие резиновые груши и трубочки за ушами... И чего ж тут сделаешь! Пора все это кончать. Побесится пару часов, ну, в крайнем случае, дней, и успокоится... Но как, однако, чудесна в гневе! Такие бешеные страсти в развитии своем и обещают многое, особенно в известном аспекте...»

Подумав так и включив на полную силу механизмы холодных рассуждений, молодой человек окончательно успокоился и изгнал из своей души остатки беспокоящего его сочувствия к взбалмошной барышне.

– Еще раз мои извинения, Софья Павловна. Если в чем-то разочаровал вас, прошу, не гневайтесь. После вам самой смешно станет...

– Не станет! И не пытайтесь мне зубы заговаривать. Я знаю: вы уехать задумали. Возьмите меня с собой... Хоть в каком качестве. Я вам в тягость не буду. Я – не кисейная барышня, вам это кто хочешь подтвердит. А здесь... здесь мне постыло все! Сергей Алексеевич! Прошу вас!

Вот теперь Серж по-настоящему испугался. Откуда она прознала о его отъезде?! Ведь все приготовления держались в тайне и никто, кроме верного Никанора, не был в это дело посвящен. У безумной девчонки свои соглядатаи? Где? Кто? Как? И что теперь делать?

– Вот теперь я вижу, какой вы еще ребенок, Софи! – отчетливо и снисходительно выговорил Серж, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. – Какие ж вы все глупости болтаете! Бежать, немедленно, «в каком угодно качестве»... Кошмар! Я что, похож на бравого гусара? Не слышал ничего! – молодой человек демонстративно зажал уши руками. – А вы не говорили! Теперь прощайте и забудьте обо всем. Как я забыл. Вот вам рецепт: налегайте на рукоделие и прочие богоугодные девичьи занятия. А всяческих романтических бредней читайте поменьше, а лучше и вовсе покуда от них откажитесь. После встретимся с вами и вместе посмеемся. Адью, милая Софи!

Выходя и почти доподлинно отрешившись от досадного происшествия, он оглянулся в последний раз, улыбнулся и намеренно вульгарно помахал рукой. Впрочем, улыбка тут же сползла с его красиво прорисованных губ. Девушка, хрупкая и блестящая, как хрустальная подвеска на люстре, застыла возле обитой синим бархатом банкетки. Черты лица искажены

нешуточным горем, волосы выбились из прически, темное платье придает белой коже слегка зеленоватый оттенок. Никто в этот миг не назвал бы Софи красивой.

Молодому человеку действительно не было до нее никакого дела, но отчего-то он понял, что запомнит эту картину на долгие годы, может быть, на всю жизнь.

То же время. Лес в районе реки Тавды, Тобольская губерния, Ишимский уезд.

– Стреляй, ну стреляй же, братец, скорее! Вон же она, скотина! Вон! Экий ты! Стреляй!!!
Два выстрела почти слились в один, третий прозвучал чуть погодя.

Матерый грязно-бурый кабан рванулся к людям, в последнем усилии вскинулся на задние ноги, распахнул клыкастую пасть, издал почти человеческий вопль и с треском рухнул на кучу валежника, за которым и прятались охотники.

– Й-о-о! – издал дикарский клич тот из охотников, который казался младше и как-то незначительнее. Впрочем, его охотничий нарезной штуцер, да, пожалуй, и прочая экипировка были добротнее и дороже, чем у приятеля.

Старший выпрямился, отряхнул колени, подобрал разряженную двухстволку и направился к убитому зверю. Неожиданно он прынул в сторону, но почти сразу же облегченно выругался:

– Вот чума-то! Гляди!

Откуда-то из подлеска выбежало полдюжины полосатых поросят. Они с визгом крутились возле убитой матери, тыкались в нее розовыми пяточками, один, самый крупный, возбужденно дергал разбухший сосок.

– Так то matka с детьми! – обескуражено сказал младший, глядя на суету поросят. – Что ж с ними теперь?

– Ничего, зарежем, – спокойно ответил старший, доставая из-за голенища длинный и узкий нож.

– Но...

– Брось! Сами, без матери, все одно не проживут. Сожрут нынче же ночью. Зачем зверью оставлять? У нас кухарка знатно молочных поросят готовит. Да и твоя тетка не откажется... Давай, заходи вон с того края...

– Уж ты сам, – младший малодушно отвернулся и явно боролся с желанием зажать уши, чтобы не слышать предсмертного поросячьего визга.

– Ну вот и все. Один, кажется, убежал, ну и пес с ним... А ты кочевряжился... Теперь надо Игнатия с подводой позвать. Давай я тут останусь, а ты иди... Только флягу свою здесь оставь. Не то я тебя до морковкиных заговин ждать буду...

– Пешку пошлем. Она приведет, – младший охотник поманил к себе старую, с сединой на морде гончую. Двое других собак – лохматые лайки-полукровки с треугольными ушами – возбужденно кружились вокруг убитых зверей, лизали свежую кровь. – Иди, Пешка, иди. Туда! – хозяин махнул рукой, псина проследила за направлением его взгляда, для верности понюхала землю, прошла пару шагов, уткнувшись носом в только начинающие опадать листья. Вернулась, уселась, перекосив зад, подняла к хозяину узкую морду. – Где Игнатий? Веди сюда!

– Неужто понимает?

– А то! – с гордостью за собаку ухмыльнулся охотник. – Пешка вообще как человек. Даже лучше, потому что не предаст никогда и не забудет. Только вот сказать не может... Пошла, Пешка, пошла!

Псина опустила голову к земле и неторопливо потрусилась прочь. Ее хозяин достал из сумки плоскую металлическую фляжку и изрядно приложился к ней.

– Хочешь? – спросил он напарника. – Нервы расслабить, милое дело...

– Да я как-то и не напрягался вовсе, – усмехнулся второй охотник.

– Ну как знаешь, – первый отхлебнул еще раз. – Хор-роша, стерва! Аж до кишок пробирает... – Он вытер рукавом сперва губы, а потом глаза и пожаловался. – А у меня, знаешь, последнее время нервы совсем ни к черту стали...

– Это отчего ж? – равнодушно спросил приятель, перезаряжавший ружье.

– Да батюшка намедни приболел чего-то. Я как-то и внимания не взял. Ну поболел, поболел, дальше пошел. Чего ему? Бочонок пятиведерный на плече несет, как перышко, а я и поднять-то не могу... Да и мужик он еще в самой силе. Какие годы? А тут, после всего (отец-то уж с постели встал и по делам в Ишим уехал) приходит ко мне сестра, в лице ни кровиночки, и огорошила новостью: Доктор, мол, сказал, что батюшке жить осталось всего ничего, какой-то там сосуд в нем надорвался. И следующий, мол, приступ его как раз в могилу и стонит...

– Да... Дела... – неопределенно отозвался второй охотник, однако ружье в сторону отставил и внимательно на приятеля поглядел. – И что ж ты?

– А что я-то?! Что я! – загорячился первый. – Я ж во всех его делах ни бельмеса не смыслю. Он меня не подпускает никуда...

– Так-то уж? Может, сам не схотел? Легче водки откушать, чем о делах-то слушать? – охотник усмехнулся случайно сложившемуся стишку, однако приятель его веселья не поддержал.

– Легко тебе говорить! А мне, если хочешь знать, страшно. Ночью, бывает, заснуть не могу. Пока не выпью – никак, ни в одном глазу. Как подумаю... Дела всякие, рабочие, прииск, тетка, да и сестра малахольная... Как представлю, что все – на мне... Хочется в погреб спрятаться и сидеть, чтоб не нашли. Что я могу?

– Чего ж так-то? Ну и помрет отец. Все люди смертны. И то ладно. Что ты, дитя малое, что ли? Будешь сам себе хозяин. По миру вы с сестрой, небось, не пойдете. Будете жить-поживать...

– Да не знаю я... Тревожно мне...

За неглубоким овражком послышался призывный лай Пешки и ломкий тенорок Игнатия, понукавшего впряженную в подводу лошадь. Обе лайки услышали товарку, разом зашлись и кинулись в овраг. Разговор прекратился сам собой.

Глава 1

В которой разбойники нападают на почтовую карету и учиняют ужасное душегубство. Один из наших героев чудом остается в живых и, находясь в расслабленном состоянии духа и тела, вспоминает о прошлом

Светало. Повозка, запряженная четверней, катилась по усыпанной сосновыми иглами малоезжей дороге, вдоль топкого озерного берега. Лошади устали за ночь, и кучер клевал носом. Слева от дороги, сквозь кусты с повисшими на ветках ключьями сухой тины, глухо темнела вода. Над ней стоял туман. Мошкара гудела, пахло болотом, грибами и еще чем-то – дурманным и тревожным.

Впрочем, тревожным – это для чужих. Двое казаков, что покачивались на козлах рядом с кучером, этих запахов, можно сказать, не замечали. Долгий однообразный путь подходил к середине. Места безлюдные, зверье сытое... Но ружья – близко, и порох сухой. Правда, курки, вопреки инструкции, не взведены: а то ведь тряхнет, спаси Господи, на ухабе, и выпалишь не в себя, так в соседа. А в руках ружье держать – отвалятся руки-то. Да и от кого обороняться. В повозке – почта... Есть и еще кое-что, но про это, кроме тех, кому положено, никто не знает.

Помимо почты и *кое-чего еще*, имелись в повозке и два пассажира. Вернее – три. Третий, здоровенный мужик с отрешенно-снисходительной ухмылкой, разместился на крыше, устроив себе там из тюков и баулов – непонятно, каким образом, – вполне сносное лежбище. Всю дорогу он там и полеживал, глаза в небеса и слезая лишь изредка – по зову барина. Барин его делил тряское, пропахшее овчинами и дегтем нутро повозки с попутчиком – тоже господского звания. Вот им-то, по мнению казаков, и полагалось бояться. Наслышаны, поди, в столицах, что в Сибири за каждым деревом – медведи да беглые каторжники!..

Пассажиры если и боялись, то никак этого не демонстрировали. Особенно один. Он сладко спал, устроившись на жесткой деревянной скамейке и подложив под голову аккуратно свернутую шинель горного ведомства. Темнота скрывала его лицо, но попутчик, сидевший напротив, легко мог представить мечтательную улыбку, бродящую по юному лицу, украшенному прозрачным пухом на подбородке.

Эту улыбку он имел удовольствие лицезреть сегодня целый день, пока было светло. Сказать по правде, она изрядно ему надоела.

Сонно моргая, второй пассажир глядел в окно. Над озером медленно светлело небо, туман расползлся, открывая заросли болотной травы. Комары и гнус, свирепствовавшие всю ночь и вчерашний день, притихли перед рассветом. Притих и ветер, гудевший в кронах высоких деревьев, что стеной стояли с другой стороны дороги. Что это были за деревья – кедры? А, может, сосны. Пассажир в таких вещах не очень-то разбирался.

Спящий пошевелился, вздохнул, пробормотал протяжно:

– Marie!.. – и чмокнул губами, будто пробуя имя на вкус.

Его сосед поморщился. Этот восторженный юноша, впервые выпорхнувший из-под маменькиного крыла, был ясен ему до доньшка. Величие собственного предприятия наполняло птенца благоговейным трепетом. Шутка ли: служба в самой что ни на есть дикой глуши, у купца-самодура, ворочающего миллионами! Вокруг – сотни верст тайги да шаманы с бубнами. И – золото под ногами, везде, куда ни глянь! Глядеть только уметь надо...

Этот, конечно, сумеет. Не зря сегодня рассказывал: вот, было дело, поехал так же один – совсем молодой, даже курса не кончил. На Енисей. Рядом – матерые золотодобытчики, ищут

жилу. А он им: не там смотрите, вот где надо искать. Над ним смеются. Видно же, что пустой участок. Раз там золото, говорят, сам и разрабатывай! А у него ни копейки денег. В конце концов, один из матерых, которому он больше всего надоедал, говорит: вот, покупаю тебе эту землю, даю деньги – работай. Найдешь золото – значит, ты выиграл и мне ничего не платишь, нет – отдашь долг с процентами. Парень, разумеется, рискнул – и, разумеется, золота на его участке оказалось столько, что он моментально стал миллионером. И этот станет. Ермак Тимофеевич...

Пассажир, столь скептически мыслящий, зевнул и закрыл глаза. Скепсис его был оправдан. Он, хотя и не бывавший прежде ни в Сибири, ни в Калифорнии, очень хорошо знал толк в золотоносных жилах. Ведь и впрямь: нужен совсем особенный взгляд, чтобы заметить вдохновляющий блеск там, где никто ничего эдакого не видит. И еще – чутье, чтоб не упустить момент, когда желанная жила вдруг обернется обманкой, обвалом, гибелью... Тогда – извернуться и отскочить. Он это замечательно сумел сделать.

Теперь перед ним весь мир. Молодость – прекрасная вещь, ее хватит надолго. Marie! Он улыбнулся. Мари, Софи, Надин... Как эта малышка топала ножкой в узенькой туфельке. Смешно и неотразимо.

Мерный хруст игл под тяжелыми копытами уплыл куда-то вместе с комарами и ветром. Перед глазами пассажира развернулась Нева, серебряная, сверкающая под весенним солнцем. Чайки носятся и вопят, воздух фантастически свеж, темнобровая девушка, сидящая рядом в коляске, нетерпеливо дергает сиреневые ленты шляпки – сейчас оторвет. От дальнего берега, от стены крепости, плавно отделяется пушистое белое облачко... И, спустя полсекунды – звук, невнятный и несерьезный, будто и не пушка выстрелила, а детский пугач.

– ...А вот это ты, паря, зря.

Пассажир вздрогнул и проснулся. Никого не было рядом с ним, если не считать соседа. Тот спал по-прежнему, и вообще – все было по-прежнему...

Только повозка – стояла.

Черт, да мало ли почему она стоит, успел еще удивиться собственному внезапному страху пассажир, – и тут голоса раздалась снова, уже не так близко, но громко и отчетливо. Что-то лязгнуло, коротко заржала лошадь...

– Что?

Мальчишка, спавший напротив, подскочил. Схватил за руку попутчика:

– Вы слышали? Слышали? Это же выстрел! Я так и...

– Тише, – тот выдернул руку, – что с того? Ну, шляется здесь всякая шантрапа. Допустим, у них тоже ружья... – не договорив, полез во внутренний карман.

И через миг явился на свет Божий пистолет. Серая тусклая сталь, изящное дуло. Игрушка! Юноша с прозрачной бородкой сглотнул. Ему бы при виде оружия успокоиться – а стало еще страшнее.

– Вылезьте, господа хорошие, прибыли! – об стенку повозки что-то шархнуло, юноша быстро прошептал:

– Сергей Алексеевич! Там же ваш... как его – Никанор? Или его уже...

Обсудить этот вопрос они не успели. Хлипкая дверь повозки распахнулась, вернее – вылетела из петель с мясом, и в проеме показался мужик. Заросшая смурная физиономия, в руке – палка... То есть, разумеется, не палка. В руке у него было таки ружье, просто он держал его как палку – и стрелять вроде не собирался.

– Давайте, вылезайте, – буркнул, всовываясь в повозку, – тут поглядеть надоть...

Горный инженер открыл было рот – но сказать ничего не успел; Сергей Алексеевич, крепко взяв его за руку, потащил наружу. Пистолет, кстати, исчез; юноша, машинально отметив это, подумал: струсил! – и его охватило внезапное жгучее возмущение.

Снова раздалось ржанье; выбравшись из повозки, пассажиры увидели, что коней сновисто выпрягают какие-то незнакомые личности. А знакомых – нет ни одной. Ни казаков, ни кучера; и Никанора – тоже. Распотрошенные тюки и баулы валялись на земле недалеко от повозки.

– Грабят, да? – потерянно пробормотал, оглядываясь, юноша. – Черт, никогда не думал...

Его попутчик молча улыбнулся. На них не обращали внимания. Грабителей было четверо. Один рылся в повозке, трое занимались лошадьми. Кто из них главный, так сразу не определишь. Хотя и надо бы – на всякий случай. А вообще-то самое простое и верное решение – отступить спокойно назад... исчезнуть без лишнего шума – за деревьями еще темно, можно далеко уйти, пока они спохватятся...

А что потом? На сто верст во все стороны – тайга. Этот чертов городишко, в которой невесть зачем понесло... ведь можно было найти нормальный транспорт, доехать хоть до Иркутска... этот Егорьевск – где он?

– Послушайте, что мы стоим? – голос инженера – невнятный и резкий, будто рванули мокрую холстину. – Это стыдно, в конце концов! У вас же есть...

– Тихо!

Увы – их услышали. Один из тех, что выпрягали лошадей, повернул голову. В сумерках едва можно было разглядеть узкое лицо – вполне, кажется, приятное, незлое, правда, слегка перекошенное на сторону. Сергей Алексеевич подумал: главный.

– Ваши высокоблагородия, вы бы погодили малость, – голос тоже был приятный, – сейчас и до вас дойдет... Кныш, так что там у тебя?

– Здесь! – деловито раздалось из повозки. – Все на месте, как и обещались.

Разбойнички встрепенулись; главарь, бросив лошадей, шагнул к пассажирам.

– Ну, вот, – сообщил радостно, – дело и устроилось. Вы уж простите, милостивые государи, только свидетелей нам оставлять никак не с руки... Да вы б и без того до жилых мест пешком не добрались, ведь верно?

Наклонив голову, он просительно заглянул в глаза сперва одному, потом другому, – лицо его перекошилось еще больше, и, может, поэтому, а, может, по иной какой-то причине, смысл его речи до пассажиров не дошел. Инженер подумал: «Надо же, как этот разбойник интеллигентно говорит. На мужика не похож. Кто же он?» А Сергей Алексеевич: «Беглый с каторги, ясно. Гляди, Дубравин: вот твое завтра перед тобой... А все же, куда он дел Никанора? И станет ли обыскивать? Или как-нибудь выйдет договориться?»

– Так что не обессудьте. Может, замолвите словечко *там*, – перекошенный глянул в небо, – за грешника Климентия Воропаева? – он вдруг коротко, совсем не интеллигентно хихикнул и шагнул назад, а рядом с пассажирами оказались двое – эдакие зверовидные хари. Вернее, самые обыкновенные... а им показались такими, потому что до них наконец *дошло*.

– Стреляйте! – крикнул инженер, отскакивая назад. – Стреляйте, черт бы вас...

Конечно – стрелять надо бы. И трусостью пассажир по имени Сергей Алексеевич никак не отличался. Но на него вдруг напал какой-то ступор. Слишком быстро и слишком нелепо: этот человечек, похожий на тощую больную птицу, молчаливые мужики, размазанный рассвет, серый, как петербургская талая грязь... Когда на самом деле – убивают и грабят, это должно быть иначе: вопли, выстрелы, кровь, огонь!

Он не успел додумать – и в самом деле раздался вопль, он не разобрал, чей, машинально вытащил пистолет, вскинул руку, целясь в темную громоздкую фигуру. Зря, не в того!.. Темные стволы качнулись навстречу – близко, шаг шагнуть, и ты в безопасности! Да где же этот чертов мальчишка? Здесь его, что ли, бросить?

– Да что уж вы, ребята!.. – укоризненно затянул перекошенный.

Тот, в которого Сергей выстрелил, кучей осел на землю, а второй пятился, бестолково размахивая руками. Надо же, как все просто, мелькнула удивленная мысль. Он шагнул назад –

к лесу, оглядываясь в поисках инженера, который как сквозь землю провалился... Или уже сбежал? Точно!

И бес с ним. Он выстрелил еще раз – ни в кого, так, для остротки, – и в тот миг, когда повозку с распахнутыми дверями и людей возле него уже заслонили кедровые стволы, что-то внезапно вывернулось сбоку... куст или пень? Он ударил это что-то, не размышляя, – рукояткой пистолета. Удар пришелся по мягкому, он успел еще испугаться: неужто мальчишка попался под руку, Ермак Тимофеевич? Услышал хруст, вой и увидел – мельком, но очень отчетливо, – окольши слетевшей от удара казачьей фуражки.

Живых кустов в этом лесу оказалось по меньшей мере два – второй кинулся Сергею Алексеевичу под ноги, едва тот успел сделать шаг. А тут и первый, бывший в фуражке, очухался и прыгнул... и последней мыслью, явившейся перед тем, как сознание залила тьма, был бестолковый вопрос: да где же, черт возьми, все-таки Никанор?..

*...Лазоревая ветка,
серебряная клетка.
А в ней горит, как свечка,
влюбленное сердечко.*

Ветка тихо покачивалась, и ослепительный свет пробивался сквозь листья. Не надо бы ей качаться... все так неверно, хрупко, – одно движение, даже вздох, и...

*Вот ветка подломилась,
и клетка наклонилась.
Ах, если оборвется,
Сердечко разобьется.*

Что за чушь? Зудит над ухом, переливчато, тревожно. Комары это. Всего-то навсего. А тоненький голосок, старательно выводящий дурацкую песенку про разбитое сердце – девчонка-нищенка... Была такая в Инзе. С паперти ее гоняли, она вставала обычно у церковной ограды или на углу возле кондитерской. Маменька, глядя на нее, испускала тяжкие сочувственные вздохи и вытаскивала денежку – полкопейки, не больше. Где она теперь, эта девчонка?..

Серж осторожно перевел дыхание – почему-то ему казалось, что сверканье с ветки и впрямь может обрушиться. Хотя уж ясно было, что никакого там нет пылающего сердца, а просто – солнце просвечивает сквозь хвою. Яркое, теплое. Так покойно смотреть на него, и так сладко пахнет живой смолой... Век бы не поднимался. Однако – надо. Если, конечно, получится. Что-то ведь такое с ним произошло?..

Он закрыл глаза, вспоминая. Кажется, он ехал. В нелепой квадратной колымаге с деревянными сундуками вместо сидений. А до этого было что-то еще... Да – поезд. Тонкая угольная пыль, волглые простыни, тоскливый, нечеловеческий какой-то запах железной дороги. Текущие сырые тучи за окном. Пока тащились через Урал – лило без остановки, и на станциях лучше не выходи: мерзло и гнусно.

...Пейзаж за окном оставался унылым, колеса постукивали на стыках рельсов, и мерно мотался в стакане с подстаканником крепкий, почти рубиновый чай. Ложечку Серж вынул и положил на салфетку горсткой вверх – уж очень раздражало ее однообразное позвякивание об стенки стакана.

Еще поглядел в окно – болото вдоль насыпи, чахлый лесок, ворона на вершине мертвой ели, никаких признаков человеческого жилья.

«Куда я еду? Зачем?»

Вспомнились слова Никанора, неодобрительно сказанные, пока ехали на извозчике к Николаевскому вокзалу.

– Что барин, уезжаем теперича? Не пришлось в Питербурхе-то?

– Заткнись, дурак. Не твое дело.

– Знамо, не мое. Но это уж как водится – «батюшко Питер, бока-то повытер»...

– Сказал же – заткнись! Чего пристал?

– А то! Вижу, что вы, Сергей Алексеевич, сами себе не ндравны, вот и хочу разобрать – так ли делаем, что прочь едем?

– Так, так! Нельзя иначе. А что за зверь «не ндравны»?

– Ну не ндравитесь вы теперь сами себе...

– Эх, приметливый, – усмехнулся Серж. – А что ж делать?

– Я-то почему знаю? – Никанор развел руки.

– То-то и оно, – назидательно поднял палец Серж. – Я и говорю: заткнись, дурак.

– Премного благодарны, – не скрывая издевки, отвечивал Никанор.

Чтобы взбодриться, Серж пытался вспомнить про сибирские богатства, про неограниченные возможности, которые открывает Сибирь для предприимчивого, неглупого человека. Проводил не лишние изящества аналогии с британскими колониями, с освоением Нового Света. Вызывал в памяти читанные книги, статьи, отчеты. Ничто не помогало. Вспоминалось, как назло, кого и когда ссылали в Сибирь. Пестрая, остро приправленная похлебка из недавних народников, блистательного плебея Меньшикова, боярыни Морозовой, проворовавшихся, битых кнутом вельмож времен Елизаветы и Екатерины, неистового протопопы Аввакума, малахольных декабристов и пр., и пр. калейдоскопом промешивалась у него в голове. Как ни крути, получалось преизрядно.

Сами собой в голове сложились стихи.

Во все года, с Петра до Николая,
Везли в Сибирь плутов и негодяев.
За счет краев, угрюмых и холодных,
Власть избавлялась от святых и неугодных.
Теперь туда же едет Серж Дубравин,
Невесть зачем и сам себе не ндравен.

А может, и не надо ничего? Плюнуть на все, уехать с деньгами в провинцию, жить тихо и мирно. Увезти с собой девочку Софи, похожую на хрустальную подвеску к люстре. Ответить на ее любовь, жениться на ней, трогать по утрам ее растрепавшиеся локоны и целовать темно-вишневые губы... Чепуха! Серж нахмурился, злясь на себя. У яркой хрустальной девочки потомственное дворянство и острые грани, об которые можно обрезать. В провинции ей просто нечего делать, негде блистать. Она либо сбежит оттуда через год-полтора, либо обабится там, растолстеет и будет всю оставшуюся жизнь пилить Сержа, обвиняя его в том, что ничего не сбылось (да и что может сбыться в этой жизни, но ей-то будет казаться, что могло и обязательно случилось бы, коли б Серж не увез ее...)... Зачем мне такое?

Работать, служить... Что я могу? – все больше распаяясь от душной, не находящей выхода злобы, думал Серж. Дурить людей, заманивать простые души несбыточными проектами. Прокладка телеграфных проводов на Луну, общество содействия распространению гигиенических средств среди гренландских эскимосов... Постыло все... Да и то не в сладость, потому что только ленивый из современных писателей не описал эту русскую хандру и поиск осмысленности, хотя бы и высосанной из пальца, из мужицкого лаптя или (для эстетов) из философического бреда высоколобых немцев. В любом случае попадаешь в тупик, кото-

рый уж и в толстом журнале описан, и в фельетоне высмеян, и на сцене проставлен. А зачем? Ладно бы ответы давали. Так нет же. Глупо все! Как будто после Чацкого уж никто и не вправе себя искать... Глупость! И я – первый глупец. Чем уж мне Чацкий-то не угодил?

Серж вспомнил, как гимназистами ставили «Горе от ума» на домашней сцене и не удержался от улыбки, словно наяву увидев школьного дружка Юру Мальцева с привязанной к животу подушкой в роли Фамусова, и себя – в роли Чацкого.

Гнусава и торопясь, брызгая слюнями на близко расположившихся зрителей, читали знаменитые монологи, слушали снисходительные аплодисменты родни и знакомых, мнили себя великими артистами и отчаянными либералами.

Тот же либеральный стиль царил и в свежоштукатуренных стенах мужской гимназии. В восьмом классе Серж с друзьями издавали литературный альманах под многозначительным названием «Гневный альбатрос», в котором помещали свои критические статьи, отзывы о прочитанных книгах, новости, а также с отчаянной и глупой храбростью высмеивали недостатки гимназической и городской жизни. В столицах подобное вольнодумие могло бы довести и до исключения, тихая администрация провинциальной гимназии лишь посмеивалась в усы и бороды над «кипятием молодежи». Даже когда Серж поместил в альманахе свою басню, написанную отчего-то гекзаметром, в которой попечительский совет гимназии весьма прозрачно сравнивался со «стадом свиней, пребывавших в полуденной лени», альманах всего лишь прикрыли, а вызванным родителям «вольнодумцев» порекомендовали провести с отпрысками разъяснительные беседы и включить в их круг чтения побольше назидательных произведений, одобренных Министерством Народного Просвещения (список прилагался, аккуратно размноженный от руки классным отличником и фискалом Евтушенко).

Так что последствий, можно считать, и не было. Альманах собирались продолжать издавать подпольно (потом об этом как-то позабыли), Евтушенко устроили темную (чтоб неповадно было). Мать Сержа по своему обыкновению закатывала глаза, требовала каплею, но быстро удалилась в спальню, прижав округлым локтем пухлый французский роман и воскликнув: «Ах, меня здесь никто не слушает и в грош не ставит!» – Между тем возвратившийся из школы Алексей Евстафиевич Дубравин прятал в жидких усах многозначительную улыбку, прохаживался козырем в полутемной гостиной и, поглаживая лацканы вытертого сюртука, бормотал: «Вот плоды... возросшие плоды свободного воспитания. Моего, между прочим, воспитания...»

Слушавший все это Серж боролся с крайне парадоксальным желанием – ему отчетливо хотелось укунить отца за нос (Страшно даже подумать, что сказал бы впоследствии по этому поводу молодой венский врач Зигмунд Фрейд (sic!), в означенные годы еще только начинавший свою практику по психиатрии). Однокашники ни за что не поверили бы, но явному одобрению, звучавшему в отцовых словах, подросток предпочел бы первоклассную выволочку с чувствительными ударами палкой для выколачивания ковров и дикими криками: «Позоришь семью! Не считаешь императора!» (как это случилось с его лучшим другом в семье почтового чиновника Мокия Мальцева).

Никакие «либерте» Сержа не интересовали, басню и прочие «критические» произведения в альманахе писал он просто от скуки и жажды выпендриться перед одноклассниками, а папашино провинциальное, тронутое молью вольнодумство давно уж вызывало у него лишь зевоту да судорогу в красиво слепленных скулах.

От сцены и школы воспоминания молодого человека естественным порядком перекинулись на весь родной поволжский городок с его неизменной лужей на главной площади и купающимися в ней хавроньями. В глазах подрастающего Сережи сей мелеющий в жару и опасно углубляющийся перед осенними холодами водоем вырастал до размеров символа городской и его лично жизни, ибо был выведен в бесчисленном количестве литературных произведений, посвященных провинциальной России. Оставаясь циклически неизменен, он как бы аллегорич-

чески топил в себе весь смысл и все перспективы провинциального бытия, и объединял в единый жизненный кругооборот всех его участников, независимо от наличия у них мыслящей и чувствующей души: жирных мух с радужным брюшком, лениво жужжащих над навозной кучей; мосластых лошадей и тощих собак, греющихся на солнце; пыльных кур, словно по делу выбегающих из-под заборов и тут же скрывающихся обратно; спешащего куда-то священника с побелевшими от пыли полами старенькой рясы; младенца в люльке под яблоней, занавешенного кисеей все от тех же мух; мещанское семейство, расположившееся в саду с баранками и самоваром; землистое лицо выходящего из трактира мастерового; железнодорожного чиновника в расстегнутом мундире, сидящего в плетеном кресле и читающего позапрошлый выпуск «Русского инвалида»...

Отец и мать Сержа всегда оставались достойными представителями этого круговорота. Мать когда-то считалась местной красавицей и, по словам тетки, «была грациозна, как серна». Сережа честно пытался себе это представить, но у него ничего не получалось. Розовое, брылястое лицо матери всегда хранило на себе печать брезгливого утомления, в белых, рассыпчатых, словно припудренных кистях, отделенных от остальной руки младенческими перевязочками, утопали огромные кольца и браслеты из дешевого дутого золота, а выбеленные кудряшки казались намертво приклеенными к небольшому черепу. Зимой матери почти всегда нездоровилось, и она лежала в постели с французским романом, весной, летом и осенью – сидела на веранде, пила чай и с одинаковым равнодушием шлепала кожаной мухобойкой мух, нерасторопную прислугу Аришу и провинившихся детей.

Отец служил по части Министерства путей сообщения, дослужился до чина 11 класса, и, в общем, ничем не отличался от тысяч других российских чиновников. Лебезил перед знатными, пресмыкался перед сильными, по праздникам ездил поздравлять начальство, но по каким-то никому не ведомым причинам считал себя нигилистом. В доказательство сего хранил в дальнем ящике стола пожелтевший номер герценовского «Колокола», а в красном углу спальни вместо икон повесил портреты Чернышевского и Добролюбова.

Все это вместе раздражало Сержа невыносимо. Решительно невозможно, – размышлял рослый красивый подросток, которого даже юношеские прыщи как-то счастливо миновали, – чтоб так везде было. Где-то, несомненно, происходит настоящая жизнь.

К пятнадцати годам Серж готов был продать свою бессмертную душу за возможность попасть в это вождевленное место. Впрочем, ни в Бога, ни в черта он, под влиянием отца, не верил, и потому покупателей на душу естественным порядком не находилось.

И вот, теперь ему уже двадцать пять. Четверть века. Возраст серьезных свершений. Александр Великий в его годы уже стоял во главе огромного государства. А что же Серж Дубравин? Где его свершения и открытия?

Ничего нет, кроме закрытий и разочарований. Тут уж не Чацким пахнет, с его глуповатым задором и юношеской ограниченностью, тут все серьезнее, господа, все куда серьезнее... Не изволите ли, господин Достоевский? Впрочем, старушек топором Серж покуда не потчевал... Но почему же ты знаешь? Вдруг кто-нито вложил в ваше предприятие весь свой капитал, а потом взял, да и наложил на себя руки... Кто ж ты тогда получишься?... Да нет, нельзя так считать. Коли кому на роду написано, так он повод завсегда найдет. Взять хоть вот ныне очевидную бессмысленность всей этой суеты, именуемой жизнью... Чем не повод?

– Не желаете ли отобедать? – умильная физиономия железнодорожного официанта просто сияла желанием услужить. Серж почувствовал, что проголодался, согласно кивнул головой и поднялся, чтобы проследовать в ресторан.

После сытной еды мысли о бренности и бессмысленности существования приутихли. Во время стоянки в Тихвине на перроне удалось познакомиться с попутчицей – симпатичной мещаночкой, явно не уверенной в себе и оттого льстящей всем подряд. Красивое лицо Сержа произвело на нее сильное впечатление, и она не скупилась на комплименты. Серж с удоволь-

ствием слушал, и к отходу поезда поймал себя на размышлении о том, что жизнь, в сущности, прекрасная штука, если не забывать вовремя обедать и не забивать себе голову всякими явно не способствующими пищеварению вещами.

Да, все прекрасно, только лило бесконечно – до самого Екатеринбурга – с серого, осеннего, провисшего неба... А здесь, в Сибири, вдруг опять началось лето.

Лето! Нет, лето осталось в Петербурге. В этом чистом, воздушном, правильном городе... Надо же – он всерьез полагал, что этот город ему *поверил*. Время текло так славно. Визиты, прогулки на острова, рассуждения о балканском вопросе и Марке Аврелии. Невесомые дебютантки и их элегантные матушки постбальзаковских лет. Переглядки над театральными программками и перышками бальных вееров.

И казалось, что навсегда позабыты, скрылись в тумане прошедшего – Москва, убогое жилье в номерах, с видом на глухую бурую стену, с лестницей, провонявшей насквозь кислой капустой. И блистательный ночной кошмар – Антоша Карицкий, из которого точно бы вышел классический лермонтовский Демон, добавь ему Господь еще хоть полвершка роста...

...Сверканье перед глазами внезапно резко мигнуло, с шуршаньем посыпалась хвоя, сверху треснуло: «Карр!» Вот спасибо! Он зажмурился.

Спасибо – что жив. А почему это, интересно, ему совсем не жалко денег? Ведь обшарили же с ног до головы, наверняка и документы забрали. Ну, и черт с ними. Не убили, и ладно.

А вдруг вернутся и добьют?

Перспектива явилась такая реальная, что он, дернувшись, приподнялся, открыл глаза, быстро поглядел вокруг.

Тихая благодать. Стволы, подсвеченные утренним солнцем, душистая сухая хвоя, какие-то мелкие бело-розовые цветы на тоненьких стебельках. Что за цветы? Теперь надо бы знать... Он – таежный житель, может, придется еще питаться этими стебельками. Ma petite Sophie, вас бы сюда – наверняка бы понравилось! Теперь, увы, остается отдать свое сердце добродетельной крестьянке – если удастся разыскать таковую. Свояем валенки, будем ходить с рогастиной на медведя, резать ложки из липы... что еще?..

Хватит, прервал он поток развеселых мыслей. Стыдно, господин Дубравин. Склонностью к панике вы, кажется, до сих пор не отличались.

Он встал. Начал было беспечно насвистывать, но тут же, поморщившись, бросил. Осмотрев себя, обнаружил, что документы при нем, а вот капитал, сохранявшийся в крупных кредитных билетах поближе к сердцу, – и впрямь отсутствует. Ну, что на это скажешь? Руки-ноги в порядке, и голова, хотя и стиснута горячим тонким обручем боли, – вроде тоже. Денег по-прежнему было удивительным образом не жаль. Ну – почти... Наверно, он так и не успел толком прочувствовать, что они у него есть.

Он шагнул вперед – к солнечному просвету меж стволов. Там оказались лохматые кусты, мягко светящаяся вода, серая пустошь за озером, поросшая кривыми березками. И – дорога. Серж остановился на обочине, глядя на повозку, осевшую на один бок. Сейчас она больше была похожа на неуклюжую грудку плотницкого материала, чем на транспортное средство. Помедлив, он обошел ее вокруг, потом вернулся в лес... И там нашел наконец три тела.

Первым был кучер, вторым – казак-охранник. Где же еще один казак, машинально подумал Серж, с трудом отводя взгляд от трупа. В памяти что-то мелькнуло... А Никанор? Никанор-то где? Сбежал и по тайге шляется? Этот тип и с разбойниками может утечь – что ему! Сержу почему-то казалось, что это важно: выяснить, где Никанор, – и он отвлекся от мыслей о нем только тогда, когда, пройдя еще шагов десять, наткнулся на тело горного инженера.

Мальчишка лежал, вытянув руки, лицом вниз. Серж молча стоял и смотрел на него... Наклониться, дотронуться, тем более перевернуть – да ни за что!

Ох, и слюняй же вы, сударь, ох, и баба. А если он жив?!

Он заставил таки себя нагнуться. Перевернул инженера на спину. Жив, как же. Лицо с дурацкой бородкой – цвета высохшей хвои. А рука вроде еще теплая... остыть не успела. Да ладно. Серж осторожно отогнул полу инженерского мундирного сюртука и провел рукой вдоль подкладки. И сразу нашел то, чего бандиты, к счастью, не обнаружили: под пальцами сухо хрустнули сложенные бумаги. Он, рванув подкладку, вытащил их, быстро просмотрел.

Ага, все, что надо. Диплом об окончании курса в горном институте, весь в печатях и роскошных росчерках. Паспорт. Что там насчет примет? «Глаза серые, волосы русые, лицо чистое, рост...». Рост тоже подходящий. Прекрасно. Рекомендательное письмо...

«...уверить Вас в моем неизменном дружеском расположении... Согласно высказанным Вами пожеланиям... Несколько робок, но уверен, что Ваше, Иван Парфенович, мудрое попечительство сей недостаток быстро устранил»...

Устранил, непременно устранил, не сомневайтесь... как вас? Вот: Прохор Платонович. Любезнейший Прохор Платонович. На досуге перечитаем письмо ваше внимательнее, а сейчас... Его взгляд невольно задержался на неподвижном лице, остром, как у птицы. А вдруг, черт возьми, все-таки жив?

Встав на колени возле инженера, он расстегнул воротник его белой сорочки. Руки дрожали. Да, подумал со злостью, дрожат руки, – ну и что? Как-то не приходилось еще иметь дело с трупами! Покамест не понесло в эту чертову Сибирь.

Он склонился над неподвижным телом, пытаясь определить, бьется ли сердце. В ухо что-то воткнулось... что еще? А – медальончик. Золотая безделушка, желудь на цепочке; а внутри – маленький фотографический портрет молодой блондинки. Тонкое личико, испуганный взгляд, улыбка... Улыбка – милая. Невеста, наверно. Та самая Marie. Сержу отчего-то сделалось совсем паршиво. Какого черта, что он тут еще хочет услышать? Все же ясно! Золотой желудь, сомкнув половинки, скользнул из пальцев.

Серж встал. Перекрестился, стоя над телом. Прощай, Ермак Тимофеевич. Пожелай мне удачи из горних высей... ведь они, что б там ни говорил вольнодумный папенька, пожалуй таки существуют.

Глава 2

В которой разбойники продолжают свое черное дело, а Серж Дубравин идет по сибирской тайге незнамо куда

– А ты, паря, не дурак. Нюх имеешь, куда там другим прочим. Ни в тайге, вишь ты, не захотел пропадать, ни от Климентия Тихоныча. Оно и верно: за бар-то, кому они нужны, бар-то... Я, пожалуй что, к тебе поближе буду держаться, а?

Могучий мужик, на широченных плечах которого городской сюртук казался нелепым и куцым, разогнулся и посмотрел на говорившего. Вернее – поверх его головы, неопределенным, расплывчатым взглядом. И тот сразу примолк. Мужик тоже помолчал с полминуты, потом удобнее перехватил лопату и, выворотив очередной ком земли, спросил без особого интереса:

– Сам-то ты с чего подался разбойничать?

Тот, к кому он обратился, махнул рукой. Деловито подтянул штаны с лампасами, выпачканные в глине и травяной зелени, – и тоже взялся за лопату. Новый товарищ внушал ему смутный страх и почтение. Откровенничать с ним не очень хотелось, но и смолчать почему-то никак не выходило.

– Была, значит, причина, – круглое лицо его, так густо покрытое оспенными рябинами, что и глаз не сыщешь, тоскливо сморщилось. – Мне, вишь ты, на службе оставаться никак нельзя было. Укатали бы как милого. В ту же Сибирь, только с бубновым тузом.

– Да ну, – еще один здоровенный ком земли полетел в кучу; вырытая яма была уже солидных размеров, но двое продолжали усердно трудиться, – проворовался, что ли, аль зарезал кого?

– Христос с тобой, паря! Начальство ворует, а я, вишь ты, крайний. Эх, порассказать бы... Да ладно. Мертвяков давай сочтем. Наших, значит, двое, Панасюк-кучер да Ванька Ставров... упокой души невинно убиенных! – он обмахнулся широким крестом, обратив рябую физиономию к небу. – Ванька-то мне цельный пятак должен остался – платил за него наемни в трактире... ладно, прощаю! Да инженеришка энтот. А ты своего барина, значит, – косо глянул на товарища, – так-таки в болото? И не жалко?

– Чего жалеть, труп он и есть труп. Жалко, что не в землю, как бы не выловили... Поздно ты лопаты принес.

– Авось не выловят. В ил засосет. И мертвяка, и колымагу... Эх ты ее сволок – один! – бывший казак восхищенно свистнул. – Силища, чисто сохатый.

Он перевел дыхание и обтер лицо подолом длинной грязной рубахи. Потом поинтересовался:

– Величать-то тебя все-таки как? Непорядок, без имени-то. Меня вот, ежели желаешь знать...

– Так и зови Сохатым, не ошибешься, – его товарищ воткнул лопату в землю и рассеянно усмехнулся, глядя в пространство, – ты Рябой, я Сохатый. Или плохо?

Бывший казак радостно закивал. Такой вариант его вполне устраивал.

– Вылазь давай, – сказал Сохатый, – выкопали, глубже не надо.

– Маловато будет, вишь ты, звери отроют, – с сомнением буркнул Рябой, смерив глазами глубину ямы. Ответа не получил и, не вдаваясь в споры, молча полез из ямы. Понятно, этот чужак в тайге не бывал, где ему разбираться. А и ему, Рябому, – что за дело? Не для себя, чай, могилка.

Спустя недолгое время два тела были уложены в яму; пришла очередь третьего. Рябой смиренно перекрестился, глядя на худосочного юношу в темно-зеленом форменном сюртуке. И ухватил его за ноги. И вдруг...

– Стой-ка, – Сохатый, отстранив его, наклонился над телом. Глядел долго, пристально. Потом, ничего не говоря, бегом подался к воде. Рябой, выпрямившись, слушал, как он продирается через тальник. На мертвого не смотрел: отчего-то было страшно.

Сохатый вернулся через полминуты, неся перед собой картуз, из которого текло. Выплеснул воду в неподвижное запрокинутое лицо. Рябой, горестно вздыхая, спросил:

– Живой, что ли? Ох ты, грехи... Зачем отливаешь-то, паря, все равно ведь...

Не договорил, глядя, как неподвижное лицо будто оттаивает. Понемногу, едва-едва, а все равно понятно уже, что – и впрямь живой.

– Грехи! – почти со слезами повторил бывший казак и шагнул подальше от тела. – Вишь ты, как тебя... Сохатый – я крови на душу брать не хочу! Давай уж сам!

Сохатый аккуратно и умело осматривал лежащего, бормоча под нос:

– Гляди-ка, целехонек. На темечке только шишка. Хрястнули хорошенько, а ему много ль надо... Ты, Рябой, никак и приложил?

– Эй! Ты слышишь, что говорю-то? Давай сам!

Сохатый обернулся.

– Сгоняй-ка еще за водой. Надо, чтоб оклемался, а то на себе его волоочь неохота.

– На себе?.. – Рябой заморгал, пытаясь сообразить. А когда сообразил – взвился от возмущения:

– Так ты его не... Дура! Что Климентий Тихоныч-то скажет? Самого зароет в землю, понял, нет?!

– Авось не зароет, – равнодушно бросил Сохатый, поднимаясь и отряхивая колени. Рябой открыл было рот, чтобы вывалить на этого дурака все, что думает... и молча закрыл.

Ведь и впрямь не зароет, мелькнула в голове смятенная мысль. И еще: недолго, пожалуй, Климентию-то Тихонычу осталось ходить в атаманах.

...Горние выси, горние выси. Может, и есть, да не про нашу честь. Мы – в противоположном направлении... Кочка хлюпнула под ногой, Серж тут же остановился. Перевел дыхание. Медленно, осторожно шагнул назад.

На тот свет – в каком бы то ни было направлении – все-таки не хотелось. Пока. Может, пройдет еще денек, и, когда вовсе сбесишься от этих стволов и горьких ягод, от непроходимых каменных осыпей и веселых полянок, которые на самом деле – трясина, от невесть чьих глаз, поблескивающих из-за каждого куста... а главное, главное – от проклятого гнуса, который так и лезет везде, где можно и нельзя! Так вот, когда сбесишься, и ад покажется раем.

Но не сейчас. Поживем еще... Серж отступил на несколько шагов и, оглядевшись, опустился на землю под корявым деревом неизвестной породы. Вокруг темнели стволы, бурые, серые, обросшие какой-то дрянью, вдалеке сливающиеся в сплошной сумрак. Вечер близко. И черт с ним. Вечер ли, ночь – вперед, вперед и вперед. Благо, дорога нашлась. Вон она, совсем близко. А за ней – болото. Березки кривые. Теперь уж не собьемся. Он поморщился, пытаясь отключиться от пронзительного комариного стога, стеной стоявшего в ушах. Ей-Богу, не то невыносимо, что кусают, а то, что зудят. И невозможно сосредоточиться, услышать еще хоть что-нибудь.

Волчий вой, например.

Волки, тут же напомнил он себе, в августе сытые. На людей нападают только зимой, когда вообще нечего жрать. Господин Аксаков изволил подробно описывать. Или Тургенев? Он закрыл глаза, приказал себе: отдыхай. Думай о чем хочешь, о ерунде всякой, только не... Отчетливо представил книжку Аксакова или Тургенева: в зеленом картонном переплете с кожаными угол-

ками. Книжку держат тонкие пальчики, на одном – колечко с жемчужиной. Торопливый, чуть задыхающийся голос:

– Что значит охота? Убийство, и все. Мы – хищники, такими нас природа создала. А делать из этого поэзию – значит лицемерить.

Ветер гонит по небу облака, треплет прозрачный шарф за плечом Софи, быстрые солнечные блики бегут по лощеным страницам, по широким полям шляпки, по щеке... Ты, дурак, ее даже ни разу не поцеловал. А ведь была, оказывается, полнейшая возможность! Все упустил. Вообразил, что этот чертов город будет тебя терпеть до бесконечности.

Наверняка она сейчас и имени-то твоего не помнит.

Глава 3

Из которой читатель более подробно знакомится с Софи Домогатской и ее взглядами на жизнь

После ухода Сержа Софи еще несколько мгновений стояла неподвижно. Потом яростно притопнула ногой, сжала кулачки и неожиданно чертыхнулась так, как чертыхаются рассерженные мастеровые. Затем прижала руки к груди, ощутила, как бешено колотится сердце.

– Ох, Серж, – громко прошептала она. – Я не могу, не могу... Нельзя же так!

Вслед за этими словами девушка качнулась вперед и выбежала из гостиной с явным намерением догнать, вернуть покинувшего ее гостя. Черное платье с широкой оборкой мешало бежать, цепляясь за мебель и деревянные завитушки на лестнице. Однако треск рвущихся кружев не останавливал ее. В отличие от дородной дамы в траурном наряде, которая, видя, что на нее не обращают внимания, попросту заступила девушке дорогу.

– Софи! – глубоким, страдающим голосом произнесла она. – Пстой! Куда ты так несешься, словно за тобой черти гонятся?

– Ах, мама, пустите, пустите меня! – девушка, все еще в пылу погони, попыталась отстранить с дороги досадное препятствие. – Вы не понимаете!

Но дама стояла на ее пути крепко, как бастион.

– Напротив, – веско возразила она. – Я желала бы не понять. Но, увы! Я слишком понимаю вас, Софи. После всего... После того, как вы оскорбили прекрасного человека, протянувшего нам руку помощи в трудную минуту... Гроб с телом вашего отца только что опустили в могилу (как вы сами изволили выразиться), а вы... вы принимаете у себя мужчину! Неслыханно!.. Скажите мне, что я ошиблась и этот молодой господин, которого я сейчас видела в прихожей, приходил не к вам...

– Вы не ошибаетесь! – убито сказала Софи, постепенно остывая и понимая, что теперь уж окончательно упустила Сержа. – Но, Боже мой, мама, как же не вовремя...

– Напротив, как раз вовремя, – возразила дама и добавила. – Господь не допустит еще одного позора...

– Избавьте! – снова вспыхнула Софи. – Хоть сейчас избавьте от ваших нравоучений! После того, что вы хотели со мной сделать, вы права не имеете... – злые слезы блеснули в больших, самую чуточку раскосых глазах. Девушка закусил губу, отвернулась от матери и, подбрав юбки, побежала по ступенькам вверх, в свою комнату.

– Несносна! Несносна! – прошептала дама и прижала полные ладони к бледным щекам. Перстень с большим изумрудом заиграл в свете свечей. – Но что же делать? Господи, вразуми! Что же мне теперь делать?!

В своей комнате Софи ничком повалилась на кровать, укрытую лиловым покрывалом с вышитыми на нем камелиями, подрыгав ногами, сбросила с них туфли, и наконец-то дала волю слезам.

Спустя пару минут в комнате бесшумно появилась горничная Вера с кувшином и перекинутым через плечо полотенцем. Оглядев рыдающую барышню, она осторожно поставила кувшин на пол и присела на стул, расправив передник и сложив на коленях большие, чуть желтоватые руки. Бесстрастное лицо ее не выражало ни нетерпения, ни сочувствия.

Плач был лишь уступкой. Только так дозволено приличным барышням выражать свои чувства. Слезы, обмороки, припухшие носики и надутые губки. Именно так гневались и обижались сестрица Аннет, подруга Элен и другие знакомые девушки. На самом же деле Софи

хотелось выть от ярости и унижения, молотить руками и ногами по кровати, грызть, ломать, разбить что-нибудь на мелкие кусочки и растоптать осколки.

– Черт! Черт! Черт! – выкрикнула Софи и тут же испуганно перекрестилась, перекатившись на бок и прижав щекой мокрую, горячую наволочку.

– Господь простит вас, что вы так по батюшке убиваетесь, – спокойно сказала Вера из своего угла. – Не желаете ли личико умыть?

Верины слова вызвали новую порцию злых слез.

Ну почему все понимают ее так превратно? И никому нельзя правды сказать. Даже Элен Скавронская, лучшая подруга, – и та наверняка отшатнется испуганно, узнай она мысли Софи так, как если бы они были написаны на бумаге. Элен хорошая, умная, добрая, и волосы у нее мягкие, блестящие, всем девушкам на зависть, но такая правильная, что иногда визжать хочется. Их воспитывали в одном кругу, по одним правилам, ссылаясь на одни и те же образцы. Отчего же Софи совсем не похожа на Элен?

«По батюшке убиваетесь»... Да она зла на покойного отца почти так же, как на Сержа. Нет, даже больше! Что, в конце концов, она Сереже, Сергею Алексеевичу? Да они едва знакомы, если правде в глаза поглядеть. Откуда ему узнать ее, разгадать ее сердце, ее слова, понять, что она не пустое говорит...

Но как отец, папочка мог поступить с ней так?! Как он мог покинуть ее, оставить совсем одну?! Все знали, что она была его любимицей, самой похожей на него из всех шестерых детей. Он звал ее киской, кшулей. Он позволял ей почти все, оправдывал самые дерзкие проделки и всегда становился на ее сторону перед матерью.

Сердце Софи сжалось от боли воспоминаний. Первый бал в прошлом сезоне. Софи – дебютантка. Все знают – дебютантки появляются на балу в белом. Дозволена голубая отделка лифа и нитка жемчуга на шее. «Как ангелы, как ангелы!» – шепчут пожелтевшие матроны с морщинистыми напудренными шеями. Софи бесконечно раздражают эти белокурые ангелочки, и она совершенно не хочет быть причисленной к их числу. К тому же вместе с ней дебютирует Элен с ее блестящими волосами и тончайшей талией, и Ирочка Гримм, ослепительный бюст которой буквально приковывает мужские взоры. На их фоне, да еще в простом белом платье, Софи попросту никто не заметит. Неужели мама не понимает этого?! Но... «существует традиция» и «ничего не поделаешь, моя дорогая. Я тоже дебютировала в белом».

Софи, кусая губы и едва удерживаясь от рыданий, кинулась к отцу. Отец сидел в кабинете в обществе бутылки французского вина. Вытянув длинные ноги, он смотрел в огонь камина, и отблески огня пятнами ложились на его румяные, гладко выбритые щеки. Путаясь и запинаясь, Софи рассказала о своей проблеме.

– Моя кшуля должна быть лучше всех, – сразу же согласился отец. – Но что для этого нужно?

Замирая от страха, Софи изложила свой план.

– Ох, и закудахнут эти старые курицы! – рассмеялся отец. Потом сделался серьезным. – А ты, кшуля, не боишься сразу испортить свою репутацию? Я ведь не от всего сумею тебя защитить...

«Неужели он уже тогда знал?... Боже мой! Неужели он уже тогда все решил и рассчитал, и, зная, что первый сезон вполне может оказаться для его кшули последним, дал свое разрешение... Господи, если это только возможно, прости моего отца... И меня прости, Господи, за злобу мою, потому что я не наделена Твоим милосердием и не могу его простить...»

Он разрешил ей сшить для первого бала атласное темно-розовое платье, отделанное мехом норки и алой тесьмой. Он сам присутствовал на примерках, смущая пожилую портниху фривольными замечаниями, и давал на удивление дельные советы касательно модных деталей. Аннет, естественно, обо всем пронюхала. Софи пообещала выдернуть ей половину волос, если она проболтается маман, и подарить белое платье с голубым воланом, если она будет молчать.

Бесцветная сестрица умела блюсти свою выгоду и онемела, как рыба. Перед самым балом отец выдал Софи кольцо и сережки из рубинов, которые носила еще его бабушка, и сам отвез Софи в Аничков дворец...

Когда Наталья Андреевна, мать Софи, увидела дочь, идущую об руку с отцом, ей сделалось дурно. Подруги, с которыми она вместе росла, принимала ухаживания кавалеров, крестила детей, ахали, хлопотали, требовали нюхательной соли, но сами морщили припудренные носики от едва сдерживаемого сложного чувства. Какой афронт!

– Фи! – довольно громко сказала Ирочка Гримм и подняла брови, причем ее бюст волнительно заколыхался. Мамаша Гримм весьма невежливо ущипнула дочь за полную руку, но было уже поздно. Андрей Ковальский, как телок на веревочке ходивший за Ирочкой и не отрывавший взгляда от ее девического, окаймленного голубыми незабудками декольте, встряхнулся, словно проснувшись, и впился глазами в новоприбывшую дебютантку.

Софи, взгляд которой словно скользил поверх голов гостей, тем не менее замечала все. И обморок матери, и шепоток старых дам, сидевших вдоль стены на бархатных стульях, и круглые глаза Элен, и – главное, главное, главное! – все мужчины от 17 до 70 лет, присутствующие в зале, смотрели только на нее. Их взгляды ощутимо щекотали кожу, и на какой-то миг Софи даже испугалась, что от этой щекотки повывлезут мурашки и кожа станет пупырчатой, как у лягушки. Испуг, впрочем, тут же прошел. Плевать на все!

Никто не смотрит на грудь Ирочки Гримм и великолепную талию Элен. А скучный кавалер Мари Оршанской, неприлично богатый барон Штерн, которым она так похвалялась, замер, приоткрыв рот, и не замечает, что Мари уже пять минут дергает его за рукав. И у Мари уже морщится нос и кривятся губы, как будто она прямо вот сейчас заплачет...

Даже теперь, когда все рухнуло безвозвратно, Софи приятно вспоминать об этом вечере. А как папа гордился ею! Мысли о нем отдаются болью в распухшей от слез переносице. Неужели он действительно уже тогда задумал то страшное...

Оставить маму и семью... Ладно... Но как он смел так поступить с *ней*, со своей кшудлей?! В конце концов, и мама, и сам папа – уже старые, они успели пожить на свете. Братцы Леша с Сережей и сестричка Ирен – маленькие и ничего не понимают, а для того, чтобы Софи пришла в соответствующее расположение духа и пожелала добра сестрице Аннет – тут, пожалуйста, мало будет Рождественского представления и целой книжки рассказов про нищих сироток.

Но как несправедливо все это! Ведь все только начиналось! Балы, музыкальные вечера, чайные кружки...

Как приятно было ощущать на своих плечах, щеках и за ушком щекочущие мужские взгляды, выслушивать лицемерные комплименты подруг и удивленные восклицания взрослых людей, привыкших считать ее, Софи, ребенком. Даже в надоевших нравоучениях маман слышалась сладкая музыка признания.

В этой внезапно захлестнувшей ее теплой волне Софи ежилась и мурлыкала, как действительная кошка. До чего ж галантны и умны были иные кавалеры! И не только безусые юнцы и странно ухмыляющиеся студенты; вполне взрослые, серьезные люди говорили теперь с Софи как с равной, искали ее внимания, целовали руку. О, как странны и восхитительны были эти публичные, дозволенные этикетом поцелуи! Прикосновение теплых губ к обнаженному запястью, мягкая щекотка усов и блестящий или с поволокой взгляд, снизу вверх, спрашивающий и обещающий одновременно... И как это я так сразу выросла и поумнела, что все меня за взрослую считают! – удивлялась иногда Софи. Она не понимала почти ни слова из разговоров, которые вели вокруг нее мужчины, да и не особенно прислушивалась к ним. Судебная реформа, земельный вопрос, обращение Победоносцева к государю, война на Востоке... Все это влетало в одно из розовых, аккуратных ушек Софи и тут же вылетало в другое. О каких же скучных вещах могут говорить люди! «Скорее всего, – размышляла она на досуге. – Они только делают

вид, что им все это интересно. Для чего же? А для того, чтобы показаться значительнее себе и другим».

Софи даже засмеялась от удовольствия, как легко разгадала она эту загадку. Видимо, она действительно умна, хотя все ее учителя вовсе не были в восторге от ее учебных успехов. Но подлинный ум – это ведь совсем другое. И пусть шипят маман и ее подруги! Настоящие мужчины, безусловно, способны оценить Софи по достоинству. Не стоит, впрочем, их разочаровывать и показывать, что она разгадала их. Софи с легкостью научилась следить за интонацией собеседника, и в нужный момент подавать уместные, но ничего не значащие реплики, кивать, поднимать брови в удивлении или хмуриться с притворным негодованием. Хлопать ресницами и тупить взор она умела с детства, наблюдая за подругами и сверстницами, которых ей ставили в пример, как образцы истинно девичьего поведения.

– Ах! И что же турки? А генерал Скобелев?

– Ой! Неужели вы прямо так и сказали губернатору?! И больше никого не нашлось?.. Вы боретесь за свои убеждения прямо как лев!

– Боже! Как все это сложно! Как вы удивительно умны, что во всем этом разбираетесь!

Иногда от подобных бессмысленных разговоров у Софи начинала дико болеть голова. Но она твердо знала: всю эту мусть следовало перетерпеть, чтобы добраться до подлинно интересных и волнительных вещей.

Приглашения на журфиксы, возвращения визитов. Прогулки в ландо, в сопровождении двух-трех молодых людей из общества или даже офицеров на чистокровных скакунах. Такие прогулки особенно нравились Элен, потому что позволяли держать поклонников на расстоянии. В непосредственной близости от мужчин Элен тушевалась и почти теряла дар речи, стыдливо опуская небольшую головку и демонстрируя всем желающим безукоризненный пробор. Одеваться на такие прогулки полагалось с подчеркнутой, истинно аристократической скромностью, что так же импонировало Элен. Софи же подобные чопорные выезды казались скучноватыми. Куда больше нравились ей верховые прогулки: от дома по набережной, потом в Летний сад, на скаковую дорожку, затем – по Каменноостровскому проспекту на острова. Софи благодаря отцовской выучке прекрасно держалась в седле и знала, что в своей голубой амазонке выглядит обворожительно. Маленькая лазоревая шляпка с длинными белыми лентами, развевающимися при скачке, синие ботиночки и легкий французский хлыстик дополняли наряд. Сопровождали амазонок офицеры или штатские англomаны. Разгоряченные близостью юных красавиц и вниманием уличных зевак, они мягко гарцевали посреди торцовых мостовых и громко отпускали своим спутницам замысловатые комплименты. Прохожие останавливались и провожали кавалькаду глазами. Щеки Софи пылали, а сердечко колотилось от сложных, как ей казалось, чувств.

Узнав, что у Мари Оршанской есть специальная книжечка, в которую она тщательно записывает свои мнимые или действительные победы, Софи и Элен последовали ее примеру – послали в Апраксин с наказом Маняшу, горничную Элен, и приобрели две прелестные одинаковые книжечки в замшевых переплетах и по золотому карандашику. Несмотря на мелкий, бисерный почерк Софи, ее книжечка заполнялась на удивление быстро.

«девятого, ввечеру, у Ведерниковых. Анатолий попросил у меня платок на память, и потом, как я на него смотрела, доставал платок и подносил к губам, ухмыляясь премерзко. Впрочем, он, должно, полагал оную гримасу нежной улыбкой»

«одинадцатого, днем, на островах. Я, угощаясь грушею, уронила митенку. В. П. поднял ее, однако, вернуть отказался. На мой вопрос: «На что вам?» – загадочно улыбнулся и назвал меня «едва распустившимся розаном, не сознающим своей власти над мужским сердцем».

«двенадцатого, дома. Во время визита к папеньке полковник К. сказал, что я удивительно расцвела, и посетовал, что он уж стар для меня, а не то непременно записался бы в ряд моих верных обожателей».

.....

Книжечка же Элен заполнялась с трудом, а, если б не Софи, должно быть, и вовсе пустовала бы. И дело было вовсе не в том, что серьезная, пригожая Элен не пользовалась успехом. Просто, по мнению Софи, она обладала удивительным даром: не замечать очевидного.

– Да он же с тебя весь вечер глаз не сводил! – горячилась Софи, покусывая по привычке выбившийся из прически локон.

– Да это тебе показалось! Он Ирочку лимонадом угощал, тебя смешил, а когда Варвара Николаевна с Анютой петь стали, так и вовсе...

Обе подруги лежали на животах на софе, грызли орешки и болтали ногами. Четыре туфельки с распушенными завязками валялись на ковре, и сквозь шелковые чулки просвечивали четыре маленькие розовые пятки. Впрочем, Элен регулярно пыталась сесть и принять позу, более приличествующую воспитанной барышне, но тогда пришлось бы разговаривать с всклокоченным по обыкновению затылком Софи, чего не хотелось. Вздохнув и по возможности расправив подол, она снова ложилась на живот.

– Пиши! – Софи решительно ткнула пальчиком в раскрытую перед подругой книжечку. – «Николя весь вечер тщательно избегал меня, шутил со всеми подряд, а стоило мне отвернуться, пожирал меня глазами»...

– Софи! Господь с тобой! Ну как я могу написать такое неприличие?!

– Что ж тут неприличного, коли так и было? – искренне удивилась Софи.

– И какое же это... ну... внимание, если «тщательно избегал»? С тобой же вот шутят, ухаживают...

– Ты ничего не понимаешь! Я тысячу раз говорила: ты так себя держишь, что к тебе и подойти-то страшно, не то что пошутить! Кажется, что вот, скажешь что-нибудь не то, а ты и заплачешь. Или, того хуже: глаза закатишь и в обморок шлепнешься. Пиши, я тебе говорю! А потом про Василия Головнина...

– Ах, Софи...

– Никаких «ах»!

Таким вот насильственным образом постепенно появлялись записи и в книжечке Элен.

Глава 4

Повествующая в основном о любви, но равным образом и о смерти, ибо всем известно, как часто эти, вроде бы взаимоисключающие, понятия оказываются рядом

Впрочем, все эти глупости кончились в один день. В тот день в книжечке Софи появилась всего одна запись.

«Я люблю, люблю, люблю! Наконец-то!»

Дата и место не называлось, потому что Софи была уверена не на шутку, что никогда в жизни не забудет их. Ведь в тот день она повстречала *его*.

Дальше записей не было, и на все лады, окруженное вензелечками, рамочками, амурчиками и цветами, повторялось одно имя:

«Сергей» «Сергей Алексеевич» «СА» «Серезжа».

Особенными художественными способностями Софи не обладала, и потому розы в книжечке напоминали растущий на заднем дворе репей, а амурчики – перекормленных мопсов.

Элен расширившимися от удивления и сладкого ужаса глазами наблюдала за происходящим, но вмешиваться не решалась из конституциональной деликатности. Впрочем, Софи никому и не позволила бы вмешаться, и ее лучшая подруга была об этом прекрасно осведомлена.

Софи тысячу раз воспроизводила в счастливой, окрашенной золотом памяти тот миг, когда весной, в среду, на журфиксе у баронессы М., она впервые разглядела эти благородные, безупречные черты, эту гордую посадку головы, эту стройную фигуру с длинными ногами и прекрасно развитым торсом. Понимая, что ведет себя неприлично, она просто не могла оторвать от него взгляда. Скромница Элен на ее месте умерла бы от смущения, и, пожалуй, убежала бы от избытка чувств, но Софи всегда умела смотреть на то, что хотела видеть. Глаза вниз, вправо, вверх, к окну; вниз, вправо, вверх, к окну... мечтательно замереть, словно прислушиваясь к звукам чарующей музыки, несущейся из залы (Софи почти лишена музыкального слуха, и в музыке не разбирается, любя, вслед за отцом, только бравурные воинские марши. Но кто об этом знает?)... Вверх, направо, вниз, к окну... Последние лучи теплого весеннего солнца проникали в гостиную словно в обход тяжелых портьер, и вокруг русых, коротко подстриженных волос молодого человека загадочно мерцал розоватый ореол, отбрасывая теплые тени на скулы и безупречно белый галстук.

Незнакомец держал в руке рюмку с вишневым ликером и о чем-то беседовал с Анатоном и Василием Головниным. Софи решительно направилась в их сторону.

– ... Но вот с вашим мнением по восточному вопросу, любезный Сергей Алексеевич, я никак не могу согласиться... – уловила она последнюю реплику Василия Головнина.

«Значит, Сергей Алексеевич... Серезжа... – мелькнула мысль. – Какое красивое, теплое имя. Похоже на ёжика, шуршащего среди осенней разноцветной листвы. И на пушистую ольховую серезжку, всю в золоте тончайшей пылицы...»

Серезжей звали младшего брата Софи, но никогда до сей минуты она не думала *так* о его имени.

– Анатолий, негодный, когда же вы мне книжку принесете? Уж как давно обещали, – с деланной обидой воскликнула Софи, подходя к молодым людям.

– Какую ж книжку, милая Софи? – удивился Анатолий. Софи не смутилась ни на секунду.

– Как? Вы и забыли уже?! Я вас не люблю, право! Вы мне обещали дать почитать книжку того римского философа, Марка Аврелия, о котором мы наемдни спорили... «Рассуждения»?.. «Размышления»?.. Я уж позабыла...

– Вам, Софи?! Марка Аврелия? – и без того слегка выпученные голубые глаза Анатоля едва не выкатились из орбит.

– Мне казалось, это Элен просила, – вставил слово Василий Головнин, не менее приятеля ошеломленный внезапно проснувшейся в Софи тягой к философии.

– Ну что вы, право! Нехорошие! – Софи капризно надула губки. – Что ж Элен?! Кто-то станет думать, будто Софи Домогатская и не может чем-нибудь серьезным интересоваться! Анатолю, ну как вы рассеянны сегодня! Я на вас сердита! Представьте же меня скорее!

– Извольте! – Анатолю, искренне смущенный и недоумевающий по поводу разыгрывающейся у него на глазах сцены, поклонился Софи. – Софья Павловна Домогатская. Сергей Алексеевич Дубравин.

– Счастлив знакомству! – теплые губы на мгновение прикоснулись к руке, и Софи, с трудом сдержав дрожь в коленях, выдавила из себя милую улыбку. Серые с зелеными крапинками глаза смотрели на нее весело и слегка удивленно.

«Сергей Алексеевич... Сере-ежа!» – мысленно позвала она.

Весь вечер Софи словно парила в золотом тумане с голубыми искрами. Туман ласкал и баюкал ее, обещая, что именно с сегодняшнего вечера начнется ее настоящая, долгая и счастливая жизнь. И единственным, что выступало из этого тумана, единственным, что на всем белом свете имело значение, было божественно прекрасное лицо Сергея Алексеевича с веселыми и нежными глазами.

«Так вот как оно бывает... вот как...» – повторяла она про себя, и улыбалась так светло и потаенно, что трое из постоянных кавалеров Софи отметили, что именно сегодня ее красота обрела какую-то новую, ранее отсутствующую глубину.

«Если бы они только знали!» – думала Софи и искренне жалела поклонников, черты которых внезапно и окончательно стерлись из ее девичьей памяти. За что жалела? Она и сама не могла бы сказать. Но какая-то жалость к миру присутствовала в ней в этот вечер, и когда Ирочка Гримм своим низким, глубоким голосом спела давно знакомый романс, Софи, весьма неожиданно для себя, ощутила слезы на своих глазах.

– Правда, *он* безумно красив? – требовательно и ревниво спросила она на следующий день у Элен.

– Кто? – удивилась Элен.

– Ну Сергей Алексеевич же! – почти выкрикнула Софи. – Дубравин! Он где-то служил с Головниным, или учился в Университете с Анатодем – я не запомнила. Только не говори мне, что ты его не заметила!

– Отчего же, заметила, конечно. Василий Андреевич представил нас. Но вот насчет красоты... У него действительно редкостно правильные черты лица, но в целом... Знаешь, это как на этюдах у начинающих художников: все очень правильно и гармонично, нет лишь смысла и содержания... И здесь...

– Замолчи! Замолчи сейчас же! – закричала Софи. – Молчи, если не хочешь навсегда со мной поссориться!

– Конечно же, не хочу, – спокойно отвечала Элен. – Ты – моя лучшая подруга, а этот Дубравин мне – кто? Бог с ним. Пусть он будет Аполлон и Адонис, если тебе так угодно... А вот Анатолю велел отдать тебе «Размышления» Марка Аврелия. Говорит, ты его просила. Я, признаться, сильно удивилась. На что тебе? Ты же сроду таких книг в руки не брала...

– А вот теперь беру. Давай сюда! – почти грубо сказала Софи.

Элен лишь флегматично пожала плечами.

Дни, последовавшие за первой встречей Софи со своею любовью, были восхитительны во всем, даже в мелочах. Все, абсолютно все, казалось Софи прекрасным. Закаты над Невой и пыльным Царицыным лугом были великолепны, пирог со сливками и курагой – нежен и воздушен, туповатое лицо горничной Веры исполнено почти античной красоты, а печать тревоги и желчного страдания на лице маман с верностью изобличала благородство и тонкость ее натуры. Приходящие учителя махнули на Софи рукой, отчаявшись добиться для своих дисциплин хотя бы крохи ее внимания. Заветный вензель из двух переплетенных букв «СА» появлялся везде буквально, от тайком вышиваемых ею платков (ранее страсть к рукоделию была для Софи так же несвойственна, как и интерес к римской философии) до тетрадей с упражнениями по алгебре и грамматике. В один голос учителя объявили Наталье Андреевне, что возобновление занятий возможно только после летних вакаций и выразили надежду, что, вволю порезвившись на просторе лесов и долов, Софи вернется в город с хотя бы частью того прилежания и смысленности, которые были присущи ей ранее. При этом почтенные преподаватели так сокрушенно качали головами и отводили взгляд, что для Натальи Андреевны становилось очевидным: упоминаемые ими надежды – всего лишь дань вежливости. Дряхлый преподаватель алгебры и геометрии, учивший еще саму Наталью Андреевну и считавший себя выжившим по старости из всех светских условностей, выразился яснее и откровеннее всех.

– Э-э, милочка Наталья Андреевна! – сказал он, трясая седовласой головой с необыкновенно большими, желтыми, хрящеватыми ушами. – И не говорите мне ничего! И не спрашивайте. Против естественности попереть можно, да только обыкновенно себе дороже обходится. Дочка ваша старшая в последнее время таковым образом оформилась, – старичок не без удовольствия и лукавства показал, где именно и в каких объемах оформилась Софи, чем вызвал недовольную гримасу своей бывшей ученицы, – что следовало ожидать последствий, весьма неблагоприятных для академического учебного процесса, но вместе с тем благоприятных для всех резвых юношей и зрелых мужей, имеющих счастье данную метаморфозу наблюдать и приветствовать...

– Помилуйте, Поликарп Николаич! – всплеснула руками Наталья Андреевна. – Но как же мне...

Софи, невольно подслушивающая этот разговор из соседней комнаты, улыбнулась и мысленно поаплодировала старичку, который, несмотря на дряхлость, не утерял остроты ума и весьма верно догадался о причине ее академических неудач.

Впрочем, старенький математик всегда нравился ей. Меж решением задач на втекание и вытекание воды из бесконечных бассейнов, он рассказывал забавные байки из своей учительской жизни и весьма едко и остроумно отзывался о придворных нравах во времена двух предыдущих императоров. Единственным, что смущало в нем Софи, были его неправдоподобные уши, поросшие редкими седыми волосками. Сидя за столом рядом с учителем, она зачастую не могла отвести от них взгляд, и, что было ужаснее всего, отчего-то представляла себе холодец, из этих ушей сваренный. Старик, как-то уловивший объект внимания ученицы, с невозмутимостью естественника объяснил, что человеческие уши состоят из хрящей, а хрящи, в отличие от костей, растут на протяжении всей жизни. Поэтому именно у всех действительно старых людей такие большие уши. Софи опустила глаза и мучительно покраснела. Ей вовсе не хотелось обижать доброго старика.

Позже, перед говением, она даже исповедовалась у молодого священника, отца Константина. Священник, добродушный, румяный и смешливый по натуре, слушал серьезно до тех пор, пока она не дошла до холодца. Здесь он не выдержал и зафыркал. Софи, несмотря на выступившие от стыда слезы, тоже не удержалась от смеха, опять представив себе заливные уши математика в красивой, саксонского фарфора тарелке, декорированные веточкой петрушки и кружочком яичка... Утишив веселье, отец Константин назначил Софи во искупление

греховных помыслов прочесть десять раз Символ веры и быть поласковее и повнимательнее к милому старичку.

Как сияло солнце и светили звезды в те весенние дни, сменяющиеся не менее весенними вечерами! Софи еще несколько раз встречала Сергея Алексеевича на журфиксах, на пикнике, в театре, на весеннем балу у баронессы Н. Он был с ней неизменно вежлив и приветлив, охотно болтал во время коктейлей и прогулок в зимнем саду. Один раз они спели дуэтом. Никаких особых знаков внимания Серж ей не оказывал, но это отчего-то вовсе не беспокоило Софи. Она почему-то была уверена, что все уж предопределено на небесах, и они непременно будут вместе. Золотой туман, окутывавший мир каждый раз, когда она видела Сержа, казался ей достаточной гарантией грядущего счастья. Даже приятно было немного потянуть время, общаться с ним, будто с чужим, мило кокетничать, поддразнивать, недоуменно поднимать бровь, выслушивая комплименты. – «Ах, к чему это?» – Внутри Софи все время смеялась, и ей казалось, что тот же смех теплой волной плещется в глазах любимого. – «Ведь ты же понимаешь...» – «Разумеется, понимаю...» – «А все они еще не догадываются...» – «Пусть так еще побудет» – «Пусть, но ведь потом все равно заметят, и придется сказать...» – «Разумеется, придется, и уж после мы не расстанемся никогда»...

Дома, в своей комнате, Софи бережно вспоминала каждый миг их нечастых встреч и – вот чудо! – была совершенно уверена, что диалоги, подобные вышеприведенному, разыгрывались на самом деле, а не исключительно в ее воображении.

В мечтах она уже прожила с Сержем всю жизнь. Она выезжала с ним в свет, блистая расцветающей с годами красотой, которой восхищались все (включая великих князей, иностранных послов и самого Государя императора), но которая принадлежала одному лишь Сержу. Они вдвоем катались на чистокровных рысаках в обширном богатом поместье с фонтанами и английским садом, целовались на дерновых скамьях в укромных беседках, плавали в гондоле по каналам Венеции и устраивали пикники где-то в Альпах (Софи даже не представляла толком, где они находятся, но батюшкин приятель, много путешествовавший за границей, рассказывал им с Элен, что альпийские пейзажи несравненно красивы). У них родилось четверо детей – две девочки и два мальчика. Детей Софи не хотелось вовсе, а совсем маленькие младенцы (она прекрасно помнила младенцами обоих младших братишек) вызывали у нее чувство испуганной брезгливости. Но даже в мечтах приходилось мириться с ними, потому что в настоящей семье обязательно должны быть дети, а чтобы следить за ними, существуют грудастые кормилицы, няньки, от которых всегда пахнет подгоревшим кипяченым молоком с пенками, и гувернеры с гувернантками в синих платьях и сюртуках, говорящие с ошибками на всех возможных языках Ойкумены.

Как-то одновременно (совершенно невозможно понять, как именно все это укладывалось в голове Софи) они уезжали в деревню и работали там в земской управе. Бесцветная Оля Камышева, у которой был титул и богатое приданое, но несмотря на это – ни одного стоящего кавалера, неоднократно рассказывала Софи, что только так, неустанно трудясь для народного блага, современные люди могут достойно прожить свою жизнь. Когда она говорила об этом, тоненький голос Оли напряженно звенел, к бледным щекам приливалась кровь, а блекло-голубые глаза загорались бегучим синим огнем, похожим на искры, вылетающие из электрической машины. В эти мгновения Оля становилась весьма хорошенькой. Софи очень туманно представляла себе народное благо, но не могла не оценить по достоинству могущества идеи, которая превращала дурнушку-Олю в красавицу. К тому же она смутно чувствовала, что для наполнения *всей* жизни ей не хватит балов и пикников, даже с необходимым дополнением в виде ее вечной любви к Сергею Алексеевичу. Итак, параллельно с прогулками на рысаках и аргамаках и пикниками в Альпах, Серж трудился врачом в земской больнице, а Софи обучала грамоте крестьянских ребятишек и переписывалась, обмениваясь опытом, с графом Толстым.

Последний весьма удивлялся Софьиному уму, и многое из их переписки включал в свои труды (ни одного из них она на сегодняшний день – увы! – так и не одолела, но это – в будущем).

В подобных (и еще более замысловатых и противоречивых) мечтаниях Софи не замечала решительно ничего вокруг себя: пропускала мимо ушей слова маман, и, уж тем паче, подруг и братьев с сестрами, застывала с поднесенной ко рту ложкой, останавливалась посреди лестницы с занесенной для следующего шага ногой или замирала на прогулке в саду, схватив в объятия какое-нибудь подвернувшееся дерево и безнадежно пачкая перчатки и пелерину.

Софи не знала, когда и как произойдет меж ней и Сержем решительное объяснение, но, как уже было сказано, вовсе не тревожилась об этом и не торопила время.

Девятого апреля вскрылась Нева, а пятнадцатого, когда акватория очистилась, состоялись установленные еще Петром Великим торжества. Элен вместе со старшим братом отправилась на них в отцовской карете и пригласила Софи. Десять минут убеждений, хлопанья ресницами, две прозрачные, поспешно стертые указательным пальчиком слезинки, и брат Элен Андрей, серьезный, молчаливый юноша, наперекор традициям семьи обучающийся в Политехническом институте, пригласил на прогулку Сергея Алексеевича Дубравина.

Во время прогулки Элен отчаянно стеснялась присутствия почти незнакомого мужчины, Андрей молчал по обыкновению, изредка вставляя малословные, но не пустые реплики, Софи млела от близости Сержа (они сидели рядом на плюшевом, коричневом с золотыми кистями сидении напротив Скавронских и иногда, при раскачивании кареты, соприкасались боками). Серж вынужденно говорил за всех, но, по видимости, этим не тяготился.

Остановившись на набережной, молодые люди с удовольствием наблюдали за происходящим. По сигналу от Адмиралтейства начальник городской верфи выехал на катере от «Домика Петра Великого» и, в сопровождении других судов, направился к Петропавловской крепости. В то же время от Адмиралтейства к крепости отплыли директор Кораблестроительного департамента Морского министерства и комендант крепости – с флагом, присвоенным его званию. В момент их встречи мужчины, как более осведомленные в воинском и гражданском обычае, поспешили сообщить барышням, что нынче начальник верфи и директор приветствуют коменданта и доносят ему о свободном сообщении по рекам. Затем все суда отправились к Дворцовой пристани. Комендант, приближаясь ко дворцу, отсалютовал семью выстрелами.

Далее, по несколько меланхолическому сообщению Андрея, комендант в сопровождении директора и начальника верфей, входит во дворец и рапортует Государю о состоянии управляемых им частей, а сопровождающие его – об открытии навигации. При этом комендант подносит Государю невскую воду в серебряном кубке.

– Как бы я хотела там быть! – темпераментно воскликнула Софи. – Видеть все! Видеть Государя!.. А ты, Элен? Ты – тоже?

– Я бы со страху глаза закрыла, и не увидела б ничего, – честно призналась подруга.

– Софи! Вы – прелесть! – нежно сказал Серж, медленно поднося к губам ее руку. – Сколько в вас жизни! Право, самому угрюмцу нельзя не порадоваться, на вас глядя...

Сердце Софи остановилось. Меховая полость сползла с колен на пол, и сквозь кашемировое пальто отчетливо чувствовался жар сильного мужского тела. Веселые крапчатые глаза смотрели прямо в душу Софи и все, абсолютно все, читали в ней.

«Разве может человек жить, коли сердце не бьется? – с легким удивлением подумала Софи, вспоминая нечто из уроков естествознания. – Наверное, может, если любит кого, или чего-то сильно хочет. Вон, Гриша читал из журнала: солдат в атаку бежал, а у него до того половину головы снарядом снесло. А без сердца – что ж? – В этот момент сердце Софи отчаянно заколотилось где-то в глотке, между ключиц. – Вот и нашлось! – с понятным облегчением отметила Софи. – Не на месте, правда, но так явно лучше, чем вовсе без сердца...»

– Как вы зарозовели, Софи! – смеялся Серж. – Неужто от моих комплиментов? Никогда не поверю! Такие, как вы, комплиментами с пеленок избалованы. Юность, богатство, знатность, красота! Вся вселенная у ваших ног!

– А вы? – тихо, едва разжимая губы, спросила Софи и сама не узнала свой голос. – Вы, Сергей Алексеевич?

– И я, разумеется, – легко согласился Серж. – В числе прочих. Ну как перед вами устоять?!

«И я! И я тоже люблю вас!» – хотелось закричать Софи, но она понимала, что в присутствии Элен и Андрея подобные признания неуместны. Собрав всю свою волю, она удержалась и только благодарно погладила большую и, пожалуй что, слегка грубоватую руку Сержа своей – маленькой и мягкой.

Молодой человек слегка удивленно взглянул на нее, но тут же улыбнулся и кивком поблагодарил за ласку.

«Во-от так! Во-от так! – пело где-то внутри Софи. – Вот так это бывает! И к чему же слова и длинные объяснения, как в романах? Один взгляд – и любящим друг друга сердцам все ясно...»

Карета проезжала мимо Николаевского собора, и внезапно Софи захотелось выйти и помолиться. Возникшее желание крайне удивило ее саму.

«Наверное, от любви я становлюсь хорошей и правильной, – подумала Софи. – Вот маман обрадуется, если и дальше так будет продолжаться... Главное, не переборщить, а не то стану такой же скучной, как Аннет или бесцветной, как Оля Камышева. Но Бог не допустит. Он же любит меня. Любит? Конечно, любит, ведь это он позволил мне найти Сережу и стать такой счастливой. Ничто не делается в мире без воли Божьей. Спасибо тебе, Боженька! Я обязательно тебе как следует помолюсь. Потом... Позже... Ты же понимаешь, Боженька, что сейчас неудобно останавливаться, потому что Элен в большие храмы не ходит, а Андрей вообще в тебя не верит... А Сережа... Да пусть он хоть в Зевеса и кикимор верит, главное, что я люблю, люблю его! И он меня любит! Как я счастлива!»

В конце мая месяца, когда заканчивался петербургский сезон, и все начинали разъезжаться по дачам и имениям, Павел Петрович, отец Софи, застрелился в своем кабинете.

Наталья Андреевна, мать Софи, с детства страдала от расстройства нервов и в конце 70-х годов даже лечилась с помощью животного магнетизма у известного в Петербурге и Москве магнетизера Варлама Витольда. Ждали нервной горячки. Не дождались. Пошив себе и дочерям траурные наряды, Наталья Андреевна ездила и хлопотала с утра до ночи. Повсюду возила с собой предсмертное письмо мужа и в свободные минуты в тысячный, наверное, раз перечитывала. Обращалась к подругам, родственникам, юристам: Как понять? Никто ответить не мог. Все было ясно и одновременно ничего не ясно, как бывает всегда, когда все уже произошло и никакие попятные шаги невозможны.

Павел Петрович оставил письмо о шести листах, написанное изящным, летящим почерком настоящего аристократа. В нем он весьма живописно, хотя и бессвязно, писал о потерянном поколении, о непонимании и тоске, об исчезновении традиционного уклада, к которому его готовили в юности, упоминал манифест 1861 года и отчего-то Александра Сергеевича Пушкина и его семейные дела, просил прощения у всех по отдельности и даже давал какие-то советы, касающиеся жизни семьи после его смерти.

Наталья Андреевна дала читать письмо старшим детям – Софи, Грише, Аннет. Гриша прочел и молча ушел к себе. Софи читать отказалась. Длинное письмо с объяснениями и извинениями только усилило ее злость на отца.

– Стреляешься, так уж стреляйся без всяких, – сказала она матери. – Чего уж теперь-то... сопли размазывать...

– Мерзавка! – плачущим голосом закричала Наталья Андреевна, с наслаждением выплескивая на дочь накопившуюся боль и обиду на несправедливость судьбы. – Как ты смеешь так об отце!.. А он-то любил тебя больше других своих детей и думал, что ты тоже... А я всегда ему говорила, что ты – маленькая бездушная дрянь!

Аннет, почти ничего не понявшая из письма батюшки, тем не менее, выучила его наизусть.

– Зачем, Аня? – спросила Софи, с искренним интересом вглядываясь в лисье личико четырнадцатилетней сестры.

– Это последнее, что от папеньки осталось, – серьезно объяснила Аннет. – Значит, вроде завешания всем нам. Я пока мало поняла, но потом буду взрослеть и разбираться.

Подумав, Софи согласно наклонила голову.

– Наверное, ты права, Аня, – сказала она. – Но я так не могу. Я... я его ненавижу!

– Это грех, Соня, – прошептала Аннет. – Отца ненавидеть нельзя. Тебе молиться надо.

– Сама молись! – огрызнулась Софи и, оскалившись, прошипела. – А то, что он сделал, – не грех, да?! За это за оградой хоронят, ты знаешь?!

Аннет закрыла лицо руками и тихо заплакала.

Дела Павла Петровича оказались не просто запутанными, как и следовало ожидать после внезапной, ничем не оправдываемой смерти человека здорового и сравнительно молодого. Дела были ужасны. Имение заложено и перезаложено, долги по векселям, ссудам и иным выплатам достигали едва ли не 90 тысяч рублей.

Вениамин Корнеевич Безухов, присяжный поверенный семьи Домогатских еще со времен Петра Леонидовича, изучив все бумаги и закладные, советовал Наталье Андреевне отказаться от наследства.

– Голубушка, поверьте, так будет лучше, – убеждал он ее. – Имение, конечно, пропадет. И квартира в Петербурге, и дача. И ценные бумаги продать придется. Но все это будет уж не ваша забота. Вы ж знаете, как это делается. Составят ликвидационную комиссию, созовут кредиторов. Но вас это уж не коснется, вы не увидите ничего. И дети, о них подумать. Не будут на их глазах мебель выносить, вещи с аукциона продавать. Нервы свои поберегите, голубушка. Вам же еще отпрысков поднимать.

– А хватит ли активов на покрытие долгов?

– Не хватит, конечно, я ж о том вам битый час и толкую. Откажетесь от наследства – сохраните хотя бы те деньги, что из вашего приданого остались на правах раздельной собственности. И драгоценности кое-какие. И мыза в N на вас записана. Да, еще есть отдельная дарственная на Софью...

– На Софью? – удивилась Наталья Андреевна, и в глазах ее зажглись нехорошие огоньки.

– Именно так. Вклад в размере тысячи рублей, ей, я так понимаю, на приданое. Правда, воспользоваться этими деньгами она сможет лишь после совершеннолетия, но все равно...

– О ней, значит, он позаботился...

– Вклад внесен три года назад... Мне не хочется вам этого говорить, Наталья Андреевна, но именно в эти последние три года и были сделаны основные долги. Павел Петрович, по всей видимости, хотел поправить свои дела игрой и... Ну, вы не хуже меня знаете, к чему это приводит...

– Но отчего же, отчего же это все, Вениамин Корнеевич, голубчик? Он письмо мне оставил, но как понять? Из него выходит, что так и должно... Паша... Павел Петрович, он ведь незлой человек был, и неглупый, книги читал... Почему же так?

– Я, Наталья Андреевна, в рассуждениях об общественных процессах не силен. Я, знаете ли, юрист, практик. Со своей стороны могу вам сказать, что дела такие в практике встречаются очень часто. Только я в этом году вел три, да мои коллеги... От знакомого статистика слышал, что до 80 процентов российских имений заложено, да и в остальных хозяйство не процветает, разве только там, где купцы выкупили. В чем причина? Может, и правда, что мы, дворянство, отслужили свое? Не знаю, не знаю... Впрочем, простите, простите, голубушка! Хотел утешить, а только... Эх, старый я дурак!

Следующим, что запомнилось Софи, были похороны.

До того дали взятку врачу и судейскому следователю, который вел расследование по делу. Врач написал в заключении, что покойный накануне смерти находился в помрачении сознания вследствие инфекционной горячки и выстрелил из пистолета, не сознавая, что делает. Судейский следователь на основании записки врача сделал вывод о случайной гибели Павла Петровича, наступившей вследствие неосторожного обращения с оружием.

Все службы отправлял отец Константин. Впервые Софи видела его без улыбки. Дали ли взятку и ему, чтоб отпел самоубийцу, – девушка не знала.

Похороны проходили по первому разряду, от похоронного бюро Шумилова, что располагалось на Владимирском, 7. И отчего-то, вместо горя потери, в памяти Софи отпечатались в точности все малейшие подробности похорон.

Колесница, на которой везли гроб, была с белым парчовым балдахином-часовней с лампадами. Влекла ее шестерка лошадей, выстроенных по две, с султанами на голове. На лошадей накинута белая сетка с серебряными кистями. Впереди процессии – красивая двуколка с еловыми ветками. Люди в белых сюртуках и белых цилиндрах несли нарядные фонари-факелы. Еще один шел сзади и разбрасывал ветви. За похоронной процессией следовали родственники и друзья покойного, дамы в траурных нарядах, мужчины с черными креповыми повязками на рукавах. Далее шел оркестр, за ним – кареты и коляски. Наталью Андреевну бережно вел и поддерживал бывший однополчанин и лучший друг Павла Петровича – Леонид Владимирович Курчатов. Поговаривали, что и за карточными столами они бывали вместе, и результат образовался схожий, то есть сегодняшние финансовые дела Курчатова оставались лишь немногим лучше, чем у покойного друга. Впрочем, по виду его, строгому и щегольскому одновременно, сказать этого было невозможно.

Гриша, поддерживающий под руку Софи, считал своим долгом отвлекать сестру от горя и, не переставая, что-то шептал и исподтишка указывал пальцем.

«Зачем я все это вижу и слушаю, и вовсе не думаю о папеньке? – спрашивала себя Софи. – Хотя, конечно, папы уж нет здесь. Тут только тело, и вовсе на папу непохоже. Но где же он? Неужели и вправду на небе? Или в аду?! Небесной-то канцелярии ведь взятку не дашь... – Софи поежилась от накотившего на мгновение ужаса, но тут же усилием воли отогнала неприятные мысли. – Ерунда все это. Папа в ад не верил, значит, и ни к чему. Он был... как это он говорил? – агностиком, вот... А такие похороны папе понравились бы... Он любил, когда торжественно, богато, народу много...»

В уши Софи пробился ломкий голос брата.

– Гляди, Соня, эти, в белых цилиндрах – горюны. Я узнавал, они у Шумилова не служат. Их в чайной на Малковом набирают, и они все пьяницы. У них, гляди, только нижняя половина штанов, и под коленками завязано. Это им в бюро, у Шумилова выдают. Потом им на чай дадут и они обратно на колеснице с ветерком поедут и сидеть будут там, где теперь гроб с папенькой стоит... А как ты думаешь, Соня, – Гриша подергал сестру за кружевную оборку, привлекая внимание. – У нас теперь совсем денег не осталось?

– Ах, Гриша, – с досадой отвечала Софи. – Я не знаю, я ничего не знаю. Да и помолчи ты хоть минутку...

Накануне вечером, перед сном (в связи с матушкиным горем Софи сама укладывала спать младших братьев и читала им на ночь) шестилетний Сережа вдруг вскочил с кровати и, путаясь в длинной ночной рубашке, вскарабкался на колени к сестре, прижался горячим тельцем.

– Сонечка, душечка, скажи мне, не утай, – истово зашептал он. – Я слышал, как мама с дядей Вениамином говорила. Мы теперь нищие стали, да? По миру пойдем, будем милостыньку на паперти Христа ради просить? – Софи хотела успокоить брата, но не успела. Он продолжал шептать, захлебываясь, брызгая ей теплой слюной прямо в ухо. – Я с тобой, душечка Сонечка, пойду. Ты Лешку не бери, он плакса и на ручки будет проситься. Ты меня возьми. Я сильный, хорошо хожу и могу жалостно так петь. Я правду говорю, меня няня, когда еще маленький был, как Лешка, пешком в Роты водила, гривенник на конке сберегала. Там у нее друг сердечный, только это тайна и ты никому не говори. Я своими ножками туда доходил, верно... Сонечка, нам много подавать будут, и у нас всегда хлебушек будет и молочко. Мы далеко, далеко пойдем и всякие страны увидим. А потом я вырасту и на войну пойду, а все жалование буду тебе отсылать... Хочешь, я тебе сейчас жалостную песню спою?

– Нет, нет, Сереженька, милый, – прошептала Софи, с трудом удерживаясь и от слез, и от смеха. – Не надо мне петь. Ты сейчас лучше спи. А утро вечера мудренее...

Глава 5

В которой Софи вспоминает, что она влюблена, горничная Вера начинает свою игру, а Наталья Андреевна Домогатская пытается спасти честь и благосостояние семьи

После похорон и поминок наступило затишье. Детей никто не беспокоил, они были предоставлены сами себе. Но все, даже маленький Алексей, понимали: вот-вот все изменится и уж никогда-никогда не будет как раньше.

В городе не осталось почти никого из знакомых. Листья на деревьях подросли и из нежно-бархатистых стали грубо-сатиновыми. Запах мокрого навоза на улицах мешался с запахом черемухи. В квартире за занавешенными окнами темнели зеркала, и потерянно скрипел паркет. Младшие, притихнув, ждали неизбежного, Аннет молилась, Гриша сдавал гимназическую переэкзаменовку. Софи размышляла.

В первую очередь ей было ясно, что ее жизнь в семье – закончилась. После смерти папы это была уж не та семья. Что-то случится дальше, потому что никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Как-то все будут жить, что-то новое образуется, но, в сущности, с этой другой семьей Софи почти ничего не связывало.

«Нехорошо так думать. Почему я такая жестокая? Неужели я их всех не люблю? И раньше не любила, а только теперь открылось? Как решить? И маман жаль, и братцев с сестрой, но что ж поделать, коли я устроена так, а не иначе? Может, я и вовсе любить не умею?... Но нет, как же, – ведь я же люблю! Люблю Сержа! Как я могла позабыть?!»

Софи пересмотрела карточки с загнутыми нижними правыми углами (оставленные по случаю скорбного события) и, как и ожидала, нашла фамилию Сержа и дорогие инициалы.

Ясно, что он хотел увидеть ее, но не посмел, зная, что она – в трауре. Как же теперь дать ему знать? А может, он и вовсе уехал на лето? Нет, не увидев ее, не обговорив всего, – невозможно. Совершенно невозможно!

Но как же поступить? С ним, и только с ним решится теперь ее жизнь. Как она могла хоть на мгновение забыть о том? И медлить нельзя. Понятно, что траур и все остальное, и всякое действие придется отложить, но не говорить с ним теперь, не смотреть в золотисто-зеленые, крапчатые глаза, не услышать от него слов любви и самой не сказать ему... – нет сил!

Сейчас. Софи никогда и ничего не умела откладывать на потом. Приняв решение, ей хотелось действовать немедленно. Ждать она попросту не могла, не могла физически. В ногах, в груди, в голове возникали непонятные импульсы, которые неприятно кололи и щеко-тали Софи на манер мурашек в отсиженной ноге. Сейчас!

Но как? Женщина не может посылать карточку мужчине, да у Софи и нет своих карточек. Как и все девушки, в необходимых случаях она карандашом приписывала свое имя на карточке матери. К тому же она и адреса Сержа не знает! Спросить у общих знакомых? Все уж уехали, да и неприлично.

Софи, словно загнанный зверь, металась по квартире.

– Можно ли спросить, барышня? – остановил ее негромкий голос, в котором явно слышалось что-то искусственное. – На вас лица нет. Кто вас так-то разозлил? Братец Григорий Павлович?

Софи огляделась и с недоумением заметила горничную Веру, которая в гардеробной мыла в мыльной воде волосяные щетки и гребни. «Отчего ж я ее раньше не видела? – удиви-

лась Софи. – Ведь не один уже раз здесь пробежала. Только вошла? Да нет, по всему видно, давно здесь своим делом занимается. Чудеса!»

Сначала Софи хотела отговориться от Веры каким-нибудь пустяком. Потом вдруг передумала.

«Никому из домашних я довериться не могу. А Вере – что ж? Все равно мы теперь бедные и слуг скоро рассчитают. Да и вдруг она что дельное посоветует? Слуги ведь тоже смышленные бывают».

– Понимаешь, Вера, – заговорила Софи, осторожно присаживаясь на обитый желтым шелком диванчик с гнутыми, словно рахитичными ножками. – Мне очень срочно нужно увидеть одного человека, но я не знаю, как это сделать. Да и адреса его не помню.

– А в чем причина-то? – в обычно ровном, невыразительном голосе Веры явно послышалось любопытство. – По деловому вопросу увидеть или по сердечному?

– По сердечному, – слегка покраснев, призналась Софи и отметила про себя, что Вера выражается не совсем обычно для слуг.

«Может, и правда сумеет помочь? – колыхнулась надежда. – Она же взрослая уже девушка. И, кажется, грамотная».

Услужливая память подсказала картинку: в имении, о прошлом годе, теплым летним вечером Вера читает вслух папенькину газету собравшимся в людской слугам. Ветер колышет полотняные, вышитые петухами занавески, пахнет сливовым вареньем, и белые бабочки, похожие на растолстевших балерин, летят в распахнутое окно на свет керосиновой лампы.

– Но что-то вам, барышня, известно про него?

– Известно, – согласилась Софи и, может, впервые в жизни внимательно оглядела Веру.

Веру она видела каждый день по много раз, но ничего удивительного в первичности ее интереса не наблюдалось. Софи вообще склонна была замечать людей и предметы, и думать о них только тогда, когда они были ей нужны. Вот диван. Он стоит у них в гардеробной столько, сколько Софи себя помнит. В случае надобности на него можно сесть. Но кто же специально думает о диване? Так же и слуги. Они готовят, моют, прибирают в комнатах и помогают одеться. Все это совершенно не может служить предметом для размышлений. Правда, Оля Камышева говорила, что передовой человек должен неустанно размышлять о судьбе трудового народа, к которому относятся не только крестьяне и фабричные рабочие, но и слуги. В устах Оли все это звучало весьма убедительно, но вместе с тем Софи полагала, что если бы у Оли появился хотя бы один стоящий поклонник, она, скорее всего, изменила бы систему своих приоритетов.

Вера жила у них, пожалуй, уже года три-четыре. Или больше? Года два назад с ней случилась, кажется, какая-то история. Матушка перешептывалась по этому поводу с подругами и гувернанткой, ходила разговаривать к папеньке в кабинет. Что-то там такое касательно Веры решали. Софи не помнила. При всей своей энергичности она была на удивление нелюбопытна к тому, что не касалось до нее лично. Ровно до этой минуты Верина жизнь не касалась ее совершенно. Теперь все изменилось, и острые глаза Софи придирчиво оглядывали девушку.

Если бы не замкнутое, пожалуй, даже угрюмое выражение лица, Веру можно было бы назвать настоящей русской красавицей. У нее была толстая, блестящая коса цвета только что опавших каштанов, резко очерченные брови, безукоризненно прямой нос и сочные, яркие, будто вымазанные помадой губы. При всем этом большие, орехового цвета, без блеска, глаза ее не освещали, как должно, а скорее, затемняли красивое лицо, делали его менее значительным и в чем-то даже неприятным. В тускловатых Вериних глазах что-то такое, пожалуй, таилось, но тайну эту никому не хотелось разгадать, как мало кому хочется взять в руку змею или ящерицу. При крупных статях в ее фигуре были соблюдены абсолютно все должные пропорции, и двигалась большая Вера на удивление легко и бесшумно.

Все увиденное Софи скорее понравилось. Вспомнилось, как истово, по-звериному рыча и подвывая, лежа поперек на своем сундуке, рыдала Вера в день смерти Павла Петровича. Значит, хозяйина любила, – рассудила Софи. – и мне, его дочери, если сумеет, услужит. К тому же Вера была явно неглупа и хороша собой. Если бы ей удалось разыскать Сержа, он наверняка стал бы с ней разговаривать.

– Хорошо, Вера, я скажу тебе, – решила Софи. Вера удовлетворенно улыбнулась яркими губами (глаза ее при этом остались тусклыми и серьезными) и тут же погасила улыбку. – Значит, слушай. Его зовут Сергей Алексеевич Дубравин. Спутать его ни с кем невозможно, потому что он – самый красивый мужчина Российской империи. Живет он где-то в Семенцах... «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины», – пробормотала Софи известную в Петербурге присказку, служащую для запоминания последовательности улиц на территории бывшего Семёновского полка. – Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская... Вот, Подольская, точно! Он так говорил. Он там то ли в гостинице живет, то ли в комнатах... Нет, в комнатах, наверняка, он что-то смешное рассказывал о хозяйке... Да...

– А где он служит? По какой части? – спросила Вера.

– Служит... – растерялась Софи, мучительно вспоминая, что говорил Серж по этому поводу. Получалось, что ничего не говорил. – Я не знаю точно. Может, он студент? Или в канцелярии?

– Из разночинцев, что ли? Или из недостаточных? – с нескрываемым презрением уточнила Вера.

– Нет! Нет! – вспыхнула Софи. – Он дворянин! И у него денег много. Анатолий говорил, что Серж по крупной играл и платил наличными...

– Ага, – удовлетворенно сказала Вера.

– Что «ага»? – подозрительно покосилась на горничную Софи.

– Дак ничего, барышня, – лицо Веры мгновенно приобрело прежнее, слегка туповатое выражение. – Еще что-нибудь изволите сообщить?

– Нет, Вера, больше я ничего не знаю, – с сожалением призналась Софи и взглянула на девушку с тщательно скрываемой надеждой. – Ты можешь его отыскать?

– Попробую, – Вера согласно кивнула крупной головой. – Думаю, если он с адресом не соврал, то отыщем вашего, Софья Павловна, красавца. Не с первого раза, так со второго... Есть способы... Имя-то верное, без обмана?

– Конечно, верное! О чем ты думаешь, Вера?! Он же во всех домах бывал...

– Я-то знаю, о чем я думаю, да вы не знаете... – проворчала горничная и решительно добавила. – Коли имя верное, услужу вам, отыщу!

– Ой, Вера, спасибо тебе! – в припадке благодарности Софи чмокнула горничную в щеку. Вера едва заметно отшатнулась, плеснув на подол Софи мыльной водой. – Если б ты знала, как меня одолжишь! Отыщи мне его, и я тогда для тебя... все, что захочешь!

– А что же сказать-то ему? Или письмо напишете?

– Письмо? Нет, в письме не получится. Скажи, что я немедленно хочу его видеть. По очень важному делу. Скажешь?

– Отчего же не сказать? Так и скажу: желает вас барышня Софья Павловна Домогатская срочно видеть по важному делу. Правильно ли?

– Все правильно, Вера, – подтвердила Софи и вздохнула с облегчением. – Только ты уж иди поскорее. Хочешь, я сама гребни прополощу и вытру?

Когда Вера ушла, Софи почувствовала, что ей невольно более в четырех стенах. Час туда, да час обратно, да там искать, да застанет ли еще... В общем, раньше темноты Веру ждать не приходилось.

«Отчего я сама не могу поехать его поискать? – с досадой думала Софи. – Все эти этикетки – для чего они придуманы? Чтоб люди понять друг друга не могли, что ли? Да ведь и так же не понимают. Чего ж еще?... А вот мы теперь разорились, значит ли это, что я могу одна идти, не спрашиваясь, куда захочу? И в булочную пирожное есть, и на рынок, и в театр... нет, в театр порядочная девушка одна идти не может... Хотя зачем же мне одной? Сейчас Вера Сержа отыщет, мы поговорим, все решим, и уж я больше никогда одна не буду... Скорее бы... А сейчас...»

Софи торопливо оделась, с трудом, выворачивая руки, застегнула крючки на новом, траурном платье, накинула темный капор и вышла на улицу. С Невы дул теплый, поглаживающий щеки ветерок, меж бульжниками мостовой белела пыль, нанесенная с Царицына луга. Софи медленно двинулась вдоль улицы в сторону Литейного проспекта. Почти на углу, на солнечной стороне улицы, прямо на путиловских плитах тротуара дремали большой кудлатый пес и его хозяин, мальчишка зеленщика. Рядом стояла корзина с овощами. Мальчишка вытянул ноги, привалился к стене дома и, разомлев на солнышке, сладко почмокивал губами. Пес, не открывая глаз, смешно дергал носом и лапами, отгоняя мух. Не удержавшись, Софи на цыпочках подкралась к мальчишке и дернула его за белый вихор. Мальчишка вздрогнул и проснулся, а пес тут же оказался на ногах и коротко угрожающе тьякнул.

– Да ладно тебе! – Софи стянула перчатку и потрепала пса по свалывшемуся загривку. – Смотри, – обратилась она уже к мальчишке. – Увидит кто, донесет хозяину, он тебе уши надедет.

– Заперто у них, барышня, – плачущим голосом проблеял мальчишка. – Я и задремал на солнышке-то. Заперто у господ Бекетовых, вот я и дожидаюсь. Может, хоть из прислуги кто придет, отопрет... Разве можно господам быть такими... Чтоб и дома никого...

– Заперто в середине дня, так уж надолго, – сказала Софи. – Поспал и будет, неси овощи обратно в лавку, а то завянут на солнцепеке-то.

Мальчишка проворно подхватил корзину, завернул за угол и потрусил в сторону Кирочной улицы, где и находилась лавка зеленщика. Пес, встряхиваясь и недовольно оглядываясь, последовал за ним.

Софи глянула им вслед, отчего-то еще раз охватила, запомнила всю картинку, и словно подписала ее. «Спящий мальчишка с пыльными щеками и черными пятками, корзина с заветрившимися овощами и пожухлой пряной травой, репьи в пышном хвосте пса, его прощальный взгляд через плечо...»

Таких подписанных картинок хранилось в памяти Софи несметное множество. Когда, с чего они стали появляться, она уж и не помнила. Хранила на всякий случай, иногда перебирала, как старые почтовые карточки. Вдруг когда-нибудь сгодится?

С Литейного слышалось цоканье копыт и грохот колес по мостовой. Откуда-то доносился запах мокрого сена и гнилой картошки. Софи хотела уж развернуться и прогуляться теперь по Пантелеймоновской в сторону Летнего сада и Инженерного замка, как вдруг с ней поравнялась, а затем и остановилась знакомая карета.

Из кареты торопливо, едва ли не на ходу, выпрыгнула Элен. Очень пожилой лакей, сидевший рядом с кучером, замешкался, и Софи едва успела подхватить запутавшуюся в юбках подругу.

– Элен, что ты здесь делаешь? – удивленно спросила она. – Я думала, ты в имении давно. Вчера хотела писать к тебе...

– Ах, Софи! Я знаю, знаю, тебе не до меня сейчас, но я не могла не приехать!

– Почему же? – удивилась Софи.

В голове у нее промелькнула дикая мысль, что Элен каким-то образом узнала о поручении, данном Вере, и теперь приехала отговаривать подругу от неприличного поступка – встречи с мужчиной. В их паре именно Элен всегда следила за приличиями, Софи же попро-

сту не могла (да, если честно, и не хотела) запомнить все то множество ограничений, которое регламентировало поведение светского человека. Многие из них казались ей попросту глупыми. Ну почему, например, девушка не может проводить мужчину до двери, не может подняться навстречу, когда он входит в комнату, а обязана сидеть, как будто кто-то приклеил ей зад к стулу? Почему? А если он ей дорог? Или: нельзя первой спросить мужчину о здоровье. С чего бы это? А если он наемни с лошади упал?

– Я тайком приехала, – отдышавшись, сообщила Элен. – Матушка, как узнают, голову с меня снимут. Хорошо вот Афанасий согласился меня отвезти. Дядюшка Афанасий такой добрый, мне все позволяет... – Элен с нежностью взглянула на темнолицего морщинистого старика, он ответил ей не менее нежным, прямо-таки умильным взглядом.

– Сердечко у леди чересчур доброе, – пробормотал Афанасий и искоса поглядел на Софи, которую издавна недолюбливал за «вольность поведения» и считал неподходящим обществом для своей барышни.

Афанасий был взят в дом из деревни еще при прадеде Элен. Утверждал, что хорошо помнит те времена, когда были «настоящие баре, не чета нынешним, и в народе подлинная строгость и благочинность». В зрелые годы Афанасий служил дворецким в особняке Нелидовых (деда Элен по материнской линии). Был грамотен, умен, в социальных тонкостях петербургского общества разбирался едва ли не лучше своих господ. Манифест об освобождении крестьян осудил со всей страстью души высокопоставленного, достигшего вершин холопа. Сам «воли» не принял, жалованье, которое ему платили после освобождения, называл «барской милостью» и каждый раз демонстративно и униженно благодарил. Элен полюбил практически с момента рождения, ибо в ее хрупком, аристократическом облике увидел возвращение прежних времен и прежних хозяев, еще не испорченных «поганым вольнодумием». Отзывался о ней почему-то на английский манер – «доподлинная леди». Элен говорила, что Афанасий похож на «дядюшку Тома» из романа Гарриетты Бичер-Стоу, и искренне любила неизменно терпеливого к ней старика, вовсе не сознавая того, что с другими (в первую очередь с молодыми слугами) Афанасий желчен, нетерпим, болезненно обидчив и не брезгует прямой клеветой, чтобы выжить «негодного» из дома.

– Мне так жаль, Софи, так жаль, что слов нет! – продолжала Элен. – Ты знаешь, я всегда Павла Петровича любила. А он... он надо мной все подшучивал, что я не такая бойкая, как ты... – на глазах Элен выступили слезы. – А теперь... Как же ты теперь, голубка Софи?!

– Да так, помаленьку, – Софи пожалала плечами, мысленно отслеживая путь Веры и одновременно пытаюсь сообразить, чего же, собственно, ждет от нее Элен. – Дела наши плохи. Денег совсем не осталось. И позор. Мы уж теперь, пожалуй, не вашего круга. Так что...

– Ах, Софи! Что ты такое говоришь! – Элен разрыдалась и бросилась в объятия подруги, а Афанасий гневно нахмурил клочкастые брови, явно соглашаясь со словами Софи. – Как же я смогу тебя позабыть!.. Все наши тебя любят и привет передают: и Ирочка, и Мари, и другие. А Оля сказала, что она тебе завидует, потому что ты теперь... – Элен закатила влажные глаза, вспоминая точные слова Оли, при этом ее гладкая белая шея слегка выпятилась вперед.

«На курицу похожа, – подумала Софи, осторожно высвобождаясь из объятий. – Голову по-куриному запрокидывает и глаза назад смотрят. Отчего ж я раньше не замечала?»

– Оля говорит, что ты теперь, не стесняемая светскими условностями, сможешь начать настоящую трудовую жизнь, и в этом смысле тебе больше повезло, чем всем нам... Ты не сердись?

– Дура она и все, – равнодушно отозвалась Софи. – Чего ж на дуру сердиться?

– Ну не скажи, Софи! – чувство справедливости заставило Элен поступить бестактно и возразить подруге, несмотря на ее горе. – Оля очень умна. Она читает много и больше всех уроков берет...

– Само собой, это важно, – согласилась Софи, думая о том, что Вера сейчас, пожалуй, уже добралась до Семенцов. Но как бы отвадить Элен?

– Я вот что подумала, голубка Софи. Тебе нынче поддержка нужна, а матушка твоя сама в горе, в хлопотах, а братья с сестрами малы, да еще вы с Аннет понять друг друга не можете. А с Павлом Петровичем вы схожи были, всегда друг друга понимали. Я понимаю, как это тяжело теперь, что опереться тебе не на кого. Может быть, ты согласишься пока у нас в Нелидовке погостить? Ты в трауре, я понимаю, но там никаких развлечений не будет, и я с тобой не стану выезжать. Мы будем в церковь ходить, в лес, на речку, Евангелие по вечерам читать, вышивать, варенье варить... Меня Маняша обещала научить вологодское кружево плести...

– Барышня Елена Владимировна! – не удержался от упрека Афанасий. – Что вы говорите-то!

Софи взглянула на старика с язвительной улыбкой. Она его вполне понимала. Какой афронт! Его леди приглашает в усадьбу дочь проигравшегося самоубийцы! Разумеется, сама леди по доброте душевной просто не понимает, что делает, но он-то обязан бдительно! Старый холоп, пекущийся о господской чести даже там, где сами господа не находят нужным об этом подумать... Вот прекрасный зачин для рассуждений Оли Камышевой о современных социальных типах! Но у Софи (вот беда-то для народного блага!) совсем другие интересы... Афанасий может не беспокоиться. Софи внутренне передернулась от красочно описываемой Элен перспективы – прожить лето в деревне, непрестанно слоняясь по окрестным церквям, ставя свечи и выслушивая пресные, как просвирки, соболезнующие речи... А в свободное время плести кружева в обществе Элен и ее карамельной Маняши... На коклюшках... Б-р-р! Слово-то само какое противное! Почти как «клуша»... А курица Элен, ясно, готова выполнять при ней роль добродетельной наседки. Не будет этого!

Софи лукаво, украдкой от Элен, подмигнула Афанасию и показала ему язык. Старик вздрогнул и уставился на девушку в траурном платье с величайшим недоумением. Потом потряс головой и отвернулся, видимо, убеждая себя, что столь вопиющее нарушение приличий ему просто привиделось.

– Милая Элен! – проникновенно начала Софи. – Я так тебе благодарна за твою заботу, что у меня просто дыхание («в зобу» – захотелось сказать Софи, но она удержалась) спирает. Не говори больше ничего, а то я тоже расплачусь... Ф-с-с! – девушка выразительно шмыгнула носом, а Афанасий взглянул на нее с откровенным подозрением. – Но, к сожалению, я не могу принять твоего великодушного предложения. Я вас всех очень люблю, но мне, я думаю, тяжело будет в Нелидовке, да и со своими надобно быть. Церкви и все такое – это восхитительно, но ведь и разговаривать надо, а я... – Софи еще не успела точно сформулировать описание того состояния души, в котором она, якобы, находится, а из глаз Элен уж снова полились слезы.

– Прости, прости меня, голубка Софи! Теперь я понимаю, как я была vulgar! Звать тебя в гости, когда ты каждую минуту думаешь о бедном Павле Петровиче и делишь горе с родными... Прости меня! Только моя любовь к тебе...

– Будет, Элен! – не выдержала Софи, не в силах больше слушать дурацкие излияния подруги.

Если бы она могла поговорить с ней о Серже! А еще лучше – съездить в фамильной карете Скавронских в Семенцы и поискать его там... Вот бы Афанасий порадовался! Но это – пустые мечтания...

– Может, зайдешь к нам? – спросила Софи, прекрасно понимая, что Элен, с ее безукоризненным знанием светских приличий, просто не может принять приглашение.

– Никак невозможно! – первым отреагировал Афанасий, внимательно прислушивающийся к разговору. – Елене Владимировне домой надобно. И так задержались сверх меры...

– Ну, добрый путь, – кивнула Софи. – Спасибо тебе за все. А я, пожалуй, до Михайловского сада пройдусь...

В кухне былолюдно и весело. Братья вместе с гувернером-французом пускали мыльные пузыри. Гриша в синей гимназической форме макал толстый куверт, свернутый из обрывка «Нового Времени», в тарелку с мыльной водой и с величайшими предосторожностями выдувал огромные, радужные, едва ли не с голову младшего братца пузыри. Тихий Леша ошеломленно смотрел на рождающееся чудо и, кажется, временами даже забывал дышать. Сережа возбужденно подпрыгивал на месте, размахивал собственным, размокшим кувертом и приговаривал:

– А вот сейчас лопнет! Ей-Богу, Гриша, сейчас лопнет!

– Не божись, и не говори под руку! – выговорил воспитаннику мсье Рассен, сворачивая для него свежий куверт.

Софи поздоровалась с французом, оторвала лист от газеты.

– Ой, Соня, ты тоже будешь дуть, да? – обрадовался Гриша. – Спорим, у меня больше будет! Я сейчас такой выдул, прямо как арбуз, но он лопнул сразу... Мсье Рассен нас рассудит...

Француз скрутил трубочку для Сережи и теперь пытался уговорить робкого Лешу тоже попробовать выдуть пузырь.

«Матушка его всегда терпеть не могла. Он с папой дружил. Они в кабинете о политике разговаривали и вино пили. Теперь его первым рассчитают. Найдет ли место? Ведь он уже совсем старенький».

Софи с неожиданным сочувствием взглянула на немолодого, слегка потертого мсье Рассена. Раньше, когда они с Гришей были поменьше, дети любили слушать его рассказы об императоре Наполеоне и бесконечных французских революциях. Себя мсье Рассен называл «старым карбонарием» и утверждал, что в молодости знался с писателем Бальзаком и был членом «Голубой венты» (тайной республиканской организации). Потом он вынужден был бежать из Парижа, а после каким-то сложным путем оказался в России. Как-то осознать смысл, а уж тем более запомнить последовательность французских революций Софи не могла (в отличие от Гриши, живо интересовавшимся французскими «свободой, равенством, братством»), но Наполеоном готова была восхищаться. Мешало то, что его победил-таки наш русский Кутузов.

Но что же Вера? – размышляла Софи, аккуратно выдувая из трубочки чудесный, живой, колышущийся пузырь.

Весь путь горничной до Семеновых был виден Софи так, как будто она сама проделала его. На Литейном Вера, конечно же, села на конку. Поднялась по винтовой лестнице на открытый империап, там проезд дешевле. Вагон пошел в сторону Невского. Вожатый часто звонит в колокол, вагон раскачивается, а Вера сидит на скамейке, боком к ходу движения, и о чем-то думает.

Удалось ли ей найти Сержу на Подольской улице? Поговорить с ним?

Ответ вместе с Верой явился лишь ввечеру, когда в квартире уже зажгли лампы. Самого Сергея Алексеевича Дубравина отыскать покуда не удалось, но есть обнадеживающие сведения, которые надобно будет проверить. Вера этим обязательно займется, потому что уж пообещала барышне, и обмануть ее надежды никак не может. Тем более, речь о сердечных делах. Не гневалась ли барыня, не искала ли запропавшую Веру?

Всю следующую неделю Вера регулярно отлучалась из квартиры и приносила все новую информацию. Знакомый солдат обещал узнать о Дубравине среди квартирующих неподалеку военных. Один из офицеров признал Дубравина по описанию и подтвердил, что тот и вправду живет на Подольской улице. Консьержка из доходного дома сказала, что видела Сергея Алексеевича в прошлый понедельник. Кухарка расспросила своего друга-истопника, который слы-

шал, как камердинер Сергея Алексеевича говорил, будто они с хозяином уезжают к однокашнику хозяина в имение. Ненадолго, на несколько дней. Скоро, пожалуй, должны уж вернуться.

– Что... что ж ты делаешь-то?! Нешто у басурман научилась?

Вера вытянулась на узкой лежанке, застеленной суконным пледом, всунула гибкие пальцы в густую поросль на груди Никанора, играя, потянула вверх. При взгляде сбоку поросль напомнила ей полегшую под ветром зрелую пшеницу. Сказать? – «Не буду говорить, не поймет, неотесан. Насторожится еще», – лениво подумала Вера.

– Отчего ж у басурман? Французское. Они, как и мы, в Христа веруют...

– Неправильно они веруют, не по-нашему, – наставительно возразил Никанор, приподнявшись на локте и пристально разглядывая Веру. Вера потянулась под его взглядом, Никанор облизнулся и моргнул, но все-таки продолжил свою мысль. – Правильную веру только греки соблюдают и еще армяшки... О-о!.. Голуба моя, сколько ж французы всякого непотребства придумали!

– Неужто не нравится?

– По нраву, голуба, по нраву... Срамно только... О-о!..

Потом Вера положила голову Никанору на грудь, так, чтоб он не мог видеть ее лица и, поглаживая пальцем его большую, загрубевшую ладонь, спросила как могла безразличней:

– А что, барин твой... богат ли? Знатен?

– Про знатность не ведаю, я у него всего второй год на службе, и разговоров мы про то не ведем, а вот при деньгах – это точно. Жалованье мне ни разу пока не задерживал. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Прежние-то господа, бывало... Вот Карл Сигизмундович, одно слово – немчура, хоть и дворянского звания...

Однако Вера не была расположена слушать рассказы Никанора о прежних хозяевах.

– А что же он деньги-то, с имения получает? Или служит где? Или, может, – игрок?

– Ни-ни! – возмутился Никанор. – Нету этого и никогда не было. Играет в гостях, как все молодые люди, но больше на проигрыши жалуется. Хартуна, говорит, меня не любит. Ты не знаешь, Хартуна – это что?

– Фортуна, наверное. Богиня удачи у греков.

– Ну вот, расстроила ты меня. Я думал, греки – наши братья по вере, а теперь у них какая-то Хартуна завелась.

– Никанорушка, лада, что тебе до греков? – рассмеялась Вера, целуя мужчину в ладонь.

– Братство должно быть между людьми – вот что. Без этого не спасемся, – серьезно сказал Никанор и осторожно потянулся губами к Веринуму уху.

– Ой, пусти, не надо, я щекотки до смерти боюсь!.. Так где, ты говоришь, твой хозяин служит-то?

Все это время Софи жила как дитя на пожаре. Мучительно, до зуда в икрах хотелось куда-то бежать, кричать, что-то немедленно делать. Вместе с тем сладкий ужас от предвкушения гибели мира нашептывал прямо противоположное: забиться в какой-нибудь угол потемнее, затаиться и глядеть оттуда, чтоб никто не увидел и не нашел. Может, удастся как-нибудь пересидеть.

Сто раз она собиралась сама поехать в Семенцы и проверить Верины слова на месте. Но горничная, словно угадывая ее мысли, толково предостерегала:

– Не вздумайте сами ехать, Софья Павловна. Прислуга с вами из неловкости разговаривать не станет, побоится от собственных хозяев укоризны. А как еще узнать? Да и что за дело: девица благородного звания мужчину разыскивает? На черную кость плевать, пусть думают, что хотят, но сам-то Сергей Алексеевич что вообразит, как отыщется? Другое дело: прислуга по поручению. Здесь все пиететно...

Необычная для бывшей крестьянской девушки (Софи знала, что Веру взяли из деревни, да и сама Вера об этом говорила) речь сначала удивляла Софи.

– Откуда ты так говорить научилась, Вера? Кто тебя учил?

– А я, Софья Павловна, грамотная и книжки всякие читать люблю.

– Какие ж книжки? Неужто из батюшкиной библиотеки?!

– Да нет, что вы, София Павловна! Как можно! – усмехнулась Вера. – У нас, у черной кости свои книжки...

Софи была слишком поглощена собой, чтобы расслышать в словах Веры насмешку, но вспомнила, как Гриша со смехом рассказывал, будто Вера по вечерам читает его учебники по географии и естественной истории.

«Молодец, Вера!» – решила Софи. Образованная, пусть и на свой лад, горничная нравилась ей больше необразованной.

Софи пыталась занять себя каким-то делом, но все – кисти, книжки, пальцы – буквально валялось у нее из рук. Только рояль, одиноко стоящий в гостиной, давал ей какое-то отдохновение и выход обуревавшим ее эмоциям. Софи не уродилась музыкальной, и уроки музыки, которые она когда-то брала, не принесли ей особой пользы. Однако сейчас она с воодушевлением тарабанила по желтоватым клавишам те немногие пьесы, которые знала наизусть, и даже пыталась разбирать новые. Многие значки она позабыла, полутонов не слышала, поэтому хаотическое присутствие в ее исполнении диезов и бемолей ее вовсе не смущало.

Удивительно, что ничего не говорила Наталья Андреевна, которую обычно пение и музицирование старшей дочери доводило до нервных припадков. В юности Наталья Андреевна считалась неплохой исполнительницей, почти профессионально пела и до замужества много лет брала уроки у профессора Консерватории Бельского. Рояль в гостиной входил в ее приданое, и первые годы замужней жизни она частенько присаживалась за него. Музыку (больше всех – Бетховена и Листа) Наталья Андреевна любила трепетно, по-девичьи. Поэтому ей было особенно невыносимо слушать бодрые, безграмотные экзерсисы Софи.

Молчание и неожиданная терпимость матери могли бы заставить девушку задуматься о причинах, если бы, повторимся, она вообще могла в эти дни размышлять о ком-то, кроме себя и своих сложных (придуманных от начала и до конца) отношений с Сержем.

Однажды за завтраком Наталья Андреевна устремила на старшую дочь какой-то странно пронзительный взгляд и многозначительно сказала:

– Сегодня к нам на ужин Ираклий Георгиевич Андронников пожалует...

Занятая своими мыслями, Софи посмотрела на мать с мимолетным удивлением: они же в трауре, визитов не принимают. Да и кто придет летом в дом игрока-самоубийцы? Впрочем, понятно, – тут же догадалась Софи. – Наверное, Ираклий Георгиевич, старший друг отца и сосед по имению, едет к себе в Осиновку и пришел от мамы узнать, не будет ли у соседки каких просьб и поручений по продаже и всякому другому. Он всегда был услужлив и деликатен. И, как многие грузинские смеси, исповедовал какой-то свой особенный кодекс чести, не очень-то привязанный к светским модам и предрассудкам.

– Ну что ж, пусть пожалует, – равнодушно согласилась Софи, проглотив последний кусок сладкой булочки с помадкой и заметив, что мать ждет от нее какого-то отклика.

– Я прошу тебя выйти и принять его вместе со мной.

– Зачем?! – теперь уж Софи действительно изумилась. – Да и что нам? Он же меня ребенком считает, дразнит всегда, шутит. А сейчас вроде неуместно. О чем же я с ним говорить буду?

– Найдется о чем, – значительно сказала Наталья Андреевна и замолчала, склонившись над чашкой с остывшим чаем.

После чая заинтригованная Софи немедленно взяла в оборот Аннет, мамину любимицу и наперсницу.

– Чего это там маман затевает? – напрямик спросила она сестру. – Зачем Ираклий Георгиевич зван?

– Да я не знаю, – мямлила Аннет, но ее небольшие светлые глазки лукаво поблескивали, выдавая имеющиеся в наличии сведения, а, пуще того, желание, чтобы высокомерная и грубая сестра немножко поупрашивала ее.

Софи, когда хотела, вполне умела быть милой.

– Анечка, зайчик, ну скажи, пожалуйста. Мама ведь тебе одной и доверяет. Мне и словечка не сказала. А мне ж надо знать, иначе чего я там буду – дура душой...

«И поделом тебе!» – читалось на лисьем личике сестры. Софи смирила себя, хотя так и хотелось пребольно дернуть за жиденькую косичку. Чтоб завизжала на весь дом.

– Анюточка, зайчик мой беленький, ты только намекни, про что разговор-то... Хочешь, я тебе мою синюю бархотку дам поносить?

– Насовсем отдай, – тут же сориентировалась Аннет и победно улыбнулась. Видимо, на материальную выгоду из этого разговора она не рассчитывала. Собиралась ограничиться моральным удовлетворением. – У тебя еще черная есть, и лиловая с камушком. А у меня только розовая, да она мне не идет... – испугавшись, что зарывается, и тем ничего не добьется, предложила. – Хочешь, я розовую тебе отдам? Поменяемся...

– Ладно, ладно, говори, – согласилась Софи, подумав мимолетно, что при нужде она всегда отберет синюю бархотку обратно. – Может, ты и вправду не знаешь ничего?

– Я-то не знаю? – Аннет обиженно выпятила нижнюю губу трубочкой, отчего внезапно напомнила Софи запеченного молочного поросенка. – Мама со мной всегда разговаривает, и я все дела знаю... У нас ведь после папенькиной смерти денег совсем не осталось...

– Это-то и я знаю, – фыркнула Софи. – Что ж с того?

– Вот маменька и думает денно и ночью, как бы нам теперь денег раздобыть и на что дальше жить... И вот она мне прямо-то не говорила, но я поняла, что она решила...

– Что ж решила-то? – Софи подалась вперед и едва не схватила сестрицу за плечи, чтоб поскорей вытрясти из нее окончание фразы.

– Решила снова замуж выйти! – выпалила Аннет. – За Ираклия Георгиевича!

– Да ты что?! – ахнула Софи, прижав ладони к вспыхнувшим щекам. – А как же траур?! А папа?

– Ну, кушать-то тоже что-то надо, – резонно заметила Аннет. – И за Гришину гимназию платить... Объявят-то, наверное, потом, когда траур кончится. Ираклий Георгиевич – одинокий, богатый. Жена у него умерла, сын взрослый, за границей живет... А папа – что ж? Сам виноват. Трудиться надо было, а не вести... безнравственный, порочащий дворянина образ жизни...

Последняя, явно пропетая с чужого голоса, фраза как-то особенно задела Софи.

– Сучка ты, – севшим голосом сказала она и отвернулась.

Аннет хотела было заплакать или, на худой конец, вцепиться сестре в волосы (впрочем, в их драках всегда побеждала Софи), но вспомнила про свою выгоду и предпочла проглотить оскорбление.

– Причем тут я-то? – она пожала плечами. – Я, что ли, замуж пойду? Ты уж всегда так – когда злишься, дороги не разбираешь... Так я возьму бархотку-то? Или сама дашь?

Софи стиснула зубы, раскрыла коробку с лентами и молча швырнула сестре вожаделенную бархотку. Аннет, еще раз пожав плечами и задрав носик, удалилась.

Софи опустила на козетку возле трюмо и задумалась.

Спустя час обида за отца и гнев на мать прошли, и она уж видела в сложившемся положении множество преимуществ. Ираклий Георгиевич богат. Он заплатит долги отца, и значит, не придется продавать имение и квартиру, а Гриша останется учиться в престижной гимназии Карла Мая. Ираклий Георгиевич добрый, не станет обижать младших братьев и сестру,

да и сама Софи тоже легко с ним договорится. «Впрочем, я-то что – отрезанный ломоть, – вспомнила Софи, и прекрасное лицо Сержа, словно озерное видение, всплыло перед ее глазами в клубах какого-то непонятого тумана. Лицо улыбалось, а губы беззвучно шевелились, повторяя те именно слова, которые больше всего на свете мечтала услышать Софи. – А как же все-таки маменька решилась? Да и он? Полюбили, что ли, друг друга?... Или раньше что-то... Да нет, чепуха, я бы знала... Как странно...»

Впрочем, долго размышлять о мотивах чужих поступков Софи не могла, да и не хотела.

Вера, как обычно, не принесла никаких определенных известий о Серже, но все же настроение Софи до вечера оставалось вполне бодрим. Некоторое облегчение от того, что с семьей все так хорошо устроилось, и больше думать об этом не надо – присутствовало, и довольно. Аннет надела к обеду синюю бархотку, но матушка даже не сделала ей замечания.

«Волнуется, наверное, – подумала Софи, но никакого сочувствия к матери не ощутила. – А что же она меня-то попросила вечером быть, а не лиску Аньку? Наверное, оттого, что я старшая... Забавно все это будет... Как же он: руку и сердце, что ли, предложит? Да ведь они уже старые совсем, смешно... И целоваться им уж, наверное, не хочется... – Софи представила себе целующихся Наталию Андреевну и Ираклия Георгиевича и содрогнулась от какого-то непонятого отвращения. – Фу, гадость!»

Высокий, со следами былой статности Ираклий Георгиевич нервничал еще более явно, чем Наталия Андреевна. После чопорного, молчаливого ужина (все дети глядели с удивлением, не узнавая гостя, обычно говорливого и веселого) семейство удалилось, оставив Ираклия Георгиевича, Софи и Наталью Андреевну в гостиной. Софи присела к роялю, Наталья Андреевна опустила на краешек стула, Ираклий Георгиевич остался стоять возле окна и в волнении тербил ламбрекен. Повисло молчание.

– Софи, я хочу сообщить тебе, – не выдержала наконец Наталья Андреевна. – Поскольку твоего отца уже нет в живых, то Ираклий Андреевич обратился ко мне с предложением... с просьбой...

«Еще бы он обратился к тебе с этой просьбой при жизни папеньки!» – цинично подумала Софи и изобразила полное внимание к словам матери.

Впрочем, Наталия Андреевна на дочь не глядела, комкая в руках платок, уже насквозь промокший от пота.

– Ираклий Георгиевич, как друг нашего дома, вошел в наше затруднительное положение, и предлагает тебе... оказать ему честь и... стать его женой... – закончив, Наталия Андреевна облегченно выдохнула лишний воздух, который неизвестно когда скопился в ее груди.

– Разумеется, венчание и все формальности после окончания траура, – поспешил добавить Ираклий Георгиевич. – Поверьте, Софья Павловна, я не изверг и понимаю, что сейчас вы, как и вся ваша семья, не можете думать ни о чем другом, кроме постигшего вас горя... Но дела требуют разрешения немедленного, и если бы вы, Софи, как справедливо выразилась ваша матушка, оказали мне честь, я мог бы заняться ими теперь же, на правах, скажем так, человека близкого...

Несколько мгновений Софи казалось, что она ослышалась. Потом иллюзий не осталось.

– А я думала, вы на маме хотите жениться, – беспомощно произнесла она. – Аннет мне сказала...

Оба покраснели. Наталья Андреевна в синеватую сторону, так, что щеки и лоб стали почти лиловыми, а Ираклий Георгиевич кирпичным оттенком, в цвет стен старых заводских корпусов.

– Вот видите, Ираклий Георгиевич, – с досадой сказала Наталья Андреевна, немного оправившись. – Я ж говорила вам, она совсем ребенок. Надо было мне ее сперва подготовить,

а вы все сами хотели. Пожалте теперь... Софи, милая, пойми... – она замолчала, подбирая слова.

– Да как же так может быть! – закричала Софи, крутанувшись на табуретке, и со всей силы оттолкнулась ладонями от открытой клавиатуры. Вместе с криком тишину гостиной разорвал громкий диссонансный аккорд потревоженного рояля. – Вы же моего папу старше на сто лет! Как вы можете...

– Всего на четыре, Софи, деточка... – неуверенно возразил Ираклий Георгиевич (на самом деле он был старше покойного Павла Петровича ровно на десять лет, но кому нужно знать об этом?).

– Софи, я прошу тебя не поддаваться эмоциям и серьезно подумать над предложением Ираклия Георгиевича, – внушительно сказала Наталия Андреевна. – Ты знаешь, что я очень редко тебя о чем-нибудь прошу. Мы с тобой вообще никогда... Впрочем, теперь это неважно. Все эти годы тебя фактически воспитывал отец. Результат налицо. Тебе шестнадцать лет, ты уже невеста, но даже после смерти отца ты ни разу не задумалась ни о чем, кроме своих пустых удовольствий. Однако теперь ты должна осознать свою ответственность...

– То есть, ты хочешь попросту продать меня ему? – Софи указала пальцем на Ираклия Георгиевича, смуглое, прорезанное глубокими бороздами лицо которого приобрело теперь какой-то пепельный оттенок. – Чтоб он заплатил папины долги и оплачивал Гришино обучение?

– Наталья Андреевна, позвольте мне объяснить Софье Павловне...

– Не надо ничего позволять, и так все ясно! – высказалась Софи.

Вся ее бывшая многолетняя симпатия к Ираклию Георгиевичу улетучилась, как дым. Сейчас он казался ей бесконечно старым и отвратительным.

– Софи, деточка, ты все не так поняла! Я знаю тебя с пеленок, и всегда восхищался твоим живым нравом. Ты с младенчества была похожа на веселый колокольчик. Рядом с тобой я каждый раз молодец и душой и телом. Ты помнишь, я качал тебя на колене, приносил тебе игрушки, пел вместе с тобой песенки. Моя бедная жена скончалась пятнадцать лет назад, когда ты еще лежала в колыбели. Сын вырос и покинул меня. У него своя жизнь, и я думаю, что он уж никогда не вернется в Россию. Я всегда любил тебя, но я стар и одинок, и я никогда не мог надеяться...

– А теперь появилась возможность приобрести меня за сходную цену вместе со всем моим дорогим семейством? – Софи встала, выпрямившись во весь свой рост, и даже слегка приподнялась на цыпочки.

– Софи, ты не смеешь оскорблять человека, который оказывает честь не только тебе, но и всей нашей семье...

– Сегодня я довольно наслушалась про честь... – внутри у Софи все дрожало, свернувшись в тугой узел, но каким-то невероятным усилием воли она ухитрилась казаться почти спокойной.

– В конце концов, я твоя мать и могу просто...

– Крепостное право отменили больше двадцати лет назад, – отчеканила Софи. – Всего доброго, мама. До свидания, Ираклий Георгиевич. Мне жаль, что так получилось. Было бы куда разумней, если бы вы посватались к маме. Я думаю, она согласилась бы...

Глава 6

В которой читатель бегло знакомится с городком Егорьевском и населяющими его обывателями, а Евпраксия Александровна Полушкина вспоминает молодость и делится с сыном своими планами

Ежели случится вам путешествовать Пермско-Тюменской железной дорогой – на перегоне от Тюмени до Тобольска поглядите в окошко вагона. Увидите справные дома под тесовыми крышами, за ними поля, засеянные пшеницею, а еще дальше – бурую равнину с чахлыми березками, синюю тайгу, топи, буераки... Наезженные тракты, уводящие в дебри. По этим трактам и ныне ездят, как встарь. Да что там встарь – еще совсем недавно, до тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, железная дорога кончалась в Екатеринбурге, а дальше – извольте на почтовых лошадях или уж как сумеете. Один путь до Тобольска, другой – до Ялуторовска и от него на Ишим и Тюкалинск. Где-то среди этих дорог пролегла еще одна, через самые что ни на есть глухие места. И на дороге этой городок – Егорьевск.

Не слышали?

И что за беда. Не вы одни – едва ли не вся Российская империя понятия о нем не имеет. Еще лет с полсотни назад стояло здесь сельцо в полтора десятка дворов, жители коего мало чем отличались от окрестных хантов да самоедов; а путники, проезжая зимой по тракту, пугливо прислушивались к волчьему вою.

Да и ныне Егорьевск невелик. Обитателей от силы тысячи полторы. Имеется полицейский участок, куда изредка наезжает из Ишима уездный исправник; почтовая станция; четырехклассное училище; церковь Покрова Богородицы с голубыми луковками; Крестовоздвиженский собор да трактир «Луизиана» с номерами для приезжающих. Местное общество, состоящее из десятка чиновничьих и купеческих семейств, изнывает от скуки, полирует друг другу кости, да мечтает о путешествии в большой город – как на иную планету.

В те времена, о коих идет речь – как раз года за два до проведения от Екатеринбурга до Тюмени железной дороги, – общество это отнюдь не было бесформенно. Имелся у него центр, глава, начало и конец, источник благ и, пожалуй что, самого существования. Помещался он в трехэтажном бревенчатом доме, обросшем разнообразными пристройками, флигелями и службами, и носил имя – Иван Парфенович Гордеев.

Собственно, не будь Ивана Парфеновича – не было бы и Егорьевска. Чести основателя он себе, впрочем, не присваивал, отдавая должное купцу Даниле Егорьеву, первым наладившему в этих местах прибыльную торговлю лесом. Гордеев начинал при нем – в приказчиках, понемногу сделался правую рукой, преемником дела, а по-настоящему разбогател уже потом, на золотодобыче.

Золота в здешних местах прежде никто и не искал, а смутные слухи о россыпях вдоль болотистых берегов речки Чуйки числились по разряду бабьих сказок, вместе с девицей-огневицей да медведем на костяной ноге. Однако же вот, оказалось – не сказки! Гордеев, что называется, поймал фарт. Помогли ему, по слухам, местные самоеды, с которыми он водил дружбу, еще когда скупал пушнину для Егорьева; а пуще других – маленький плосколицый человечек, родом из дальней северной тайги, обвешанный колдовскими амулетами, что не мешало ему, впрочем, откликаться на христианское имя Алеша. Этот Алеша и теперь обретался в Егорьевске – вроде при Гордееве, а вроде и сам по себе.

Остальные городские обыватели, впрочем, точно так же существовали: вроде сами по себе, а на деле – при Гордееве. Ибо его прииск, лесопильный завод, подряды и мастерские

давали заработок, его деньгами питалась местная культура, с его пожертвований процветали собор и Покровская церковь. Да, капиталами он ворочал увесистыми. А между тем не имел даже купеческого звания – писался крестьянином. И не выказывал никакого стремления перебраться из Егорьевска в места более цивилизованные. Почему? Возможно, если б ему задали такой вопрос, он ответил бы как тот древний римлянин, о существовании коего, ясное дело, и не подозревал: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме! А, может, привел бы и другие резоны...

Прииск Иван Парфенович назвал Мариинским – по имени жены, умершей лет двадцать назад. Второй раз он так и не женился. Детей, Петрушу и Машеньку, поднимала сестра – Марфа Парфеновна, отказавшаяся ради братниной семьи от мечты о монастыре. Мечта эта и ныне ее манила. Да на кого переложить обузу? Петя, достигший уже тридцати годов, жениться покамест не собирался; а Машенька... Машенька не уродилась ни хозяйкой, ни рукодельницей. Болезненная, как чахлое деревце: ветер дунет, она и поникла, – к тому ж еще и хромоножка. Вот кому в монастырь прямая дорога!

Леокардия Власьевна Златовратская имела на этот счет иное мнение. Дама сия, отменно образованная, приходилась покойной супруге Ивана Парфеновича младшей сестрой. Гордеев ее выучил в Екатеринбурге на свои деньги, выдал замуж и приспособил вместе с супругом к делу просвещения егорьевского юношества. С тех пор вот уж много лет она яркой звездой сияла на егорьевском небосклоне.

– Ладан! – провозглашала Леокардия Власьевна в сердцах, вперяя обличающий перст в супруга или в прислугу – киргизку Айшет, ходившую за ней преданной тенью. – Ладаном все пропахло – невозможно вздохнуть. Мон шер, справедливо ли это, когда женщине – или замуж, или в монашки? Должна же быть эманципация!

– Терциум, радость моя, нон датур, – не особенно вникая в суть жениных переживаний, отвечал г-н Златовратский – который, в отличие от Ивана Парфеновича, о древних римлянах знал если не все, то уж куда более, чем о современниках, живущих по соседству.

Современники, понятно, вовсе не заслуживали пренебрежения. Сторонний взгляд мог бы обнаружить здесь целую галерею типов, достойных пера бытописателя. Да вот беда: откуда ему взяться, взгляду-то? Приезжих издали в Егорьевске считали на единицы за год. Номера в «Луизиане» (в которых, благодаря стараниям хозяйки, не водилось не только пыли, но и, как это ни удивительно, даже клопов) бывали заняты мелким торговым людом, а чаще пустовали. Немногочисленные егорьевские барышни томились и чахли от недостатка женихов, в условиях коего даже угрюмый политический ссыльный Петропавловский-Коронин смотрелся завидным кандидатом.

Если принять на веру, что населяли Егорьевск обычные живые люди, каковые издавна имеют привычку любить, болеть, дружить, завидовать и ненавидеть, то любому сделается понятно, что в каждый отдельно взятый момент кипели в городке свои, егорьевские страсти, быть может, далекие от судьбоносности столиц, но тем не менее...

В просторном бревенчатом доме анфиладой располагались три комнаты, в которых самым причудливым образом воссоздана была атмосфера московского салона тридцатилетней давности. Казалось, вот-вот колобком вкатится незабвенный Фамусов, раздастся треснутый бас Скалозуба, нестройный гомон других гостей... Впрочем, гостей не наблюдалось вовсе, а из хозяев можно было видеть двоих: средних годов женщину со следами былой значительности на лице и молодого, схожего с ней человека лет около тридцати.

Женщина расположилась в кресле, возложив опухающие ноги на низенькую скамеечку, и раскрыв на коленях растрепанный том, писанный по-французски. На низком столике рядом – чашка чаю и две надкусанные ватрушки, одна с творогом, другая с брусникой. Молодой чело-

век стоял посреди комнаты и имел вид усталой томности и вежливого, слегка раздраженного ожидания. Видно, впрочем, было, что ничего хорошего для себя он не ждал.

– Николя, – слегка гнусава, произнесла дама (несмотря на разные нестыковки, только так нам и следует именовать находящуюся в комнате женщину). – Я давно хотела с тобой поговорить. Вот случай. Я думаю, что пора уж тебе бросить все эти мальчишеские выходы, скачки, штуцера, и серьезно подумать о своем будущем. Как ты себе мыслишь? Или тебя все устраивает в этом... – дама картинно обвела окружающее полной, все еще красивой рукой. Кроме уже упомянутого «салона», в «это» несомненно попадала виднеющаяся за окном широкая улица, по колению утонувшая в черной грязи, и деревянные домики, на две трети скрывшиеся за покосившимися заборами, на остриях которых висели перевернутые горшки. Сюда же входило и низкое, разноцветное, похожее на замаслившееся одеяло небо.

– Разумеется, нет, – грассируя, отвечал молодой человек и приподнял бровь, картинно, словно пробуя на матери ужимку, предназначенную для кого-то другого. При виде гримаски сына по губам дамы скользнула едва заметная удовлетворенная улыбка. – Но я не вижу, что можно было бы сделать. Потому и пропадаю на охоте, в разгуле... Ты знаешь меня лучше всех, мне тесно здесь, но ведь отец не отпустит меня от себя, не даст денег... Он хочет, чтоб я учился жить на его манер, рыбу мороженую возить, соль, торговаться из-за экономии гроша на казенных поставках. Я... Я пытался... Мне тошно это, сам не знаю почему, – в процессе речи молодой человек утерял позу, позабыл о ней, заговорил горячо, делая выразительные жесты руками. – Бывает, поедешь на болота уток стрелять, присядешь где-нибудь на пригорке, смотришь в небо и думаешь: вот, кабы улететь отсюда... Куда? Да черт его разберет... Может и там нет ничего...

– Есть, Николя, есть, верь мне! – с не меньшей горячностью перебила сына мать. – Есть другая жизнь, без этого сонного прозябания, без запаха прогорклого жира, без этих тупых рож, каждая из которых мнит себя пупом земли... О, там они знают свое место! – лицо дамы закружилась воспоминаниями, задергалось какими-то мелкими жестокими судорогами, а рука сама собой сжалась в кулак. Наблюдая за ней, можно было рассудить, что раньше, в прежней жизни она командовала, по меньшей мере, ротой гренадеров.

– Ты, Николя, рожден для той, далекой жизни. Потому тебе и тесно здесь... Настало, впрочем, время сказать. Знаешь ли ты, что Викентий Савельевич не родной тебе отец? Понимаешь ли, что это значит?

– Понимаю ли я? – жесткая гримаса, мужское отражение материнской мимики, перекосила в целом привлекательное лицо Николая. – Да что ж тут знать-то? Каждому, кто не дурак, видно. Мой-то родной папаша не захотел, видать, на вас жениться, вот и пришлось... Правда, не совсем ясно, какая отцу корысть была... Я ведь, если правильно понимаю, уже в браке рожден? Фамилию рода Полушкиных ношу...

– Я, между прочим, по молодости красавицей считалась, – с остатками былой надменности произнесла дама. – Викентий до всей этой истории глянуть на меня прямо не смел. Посылал корзины с цветами, фрукты к праздникам и даже записки не писал... Не смел... К тому же он честолюбив был. Когда понял, что к чему... Знатная фамилия, связи в Москве, да и приданое немалое... Расчет тоже имелся, чего теперь скрывать...

– Это – да, это – понятно, – Николай кивнул. – Ваш грех он прикрыл, и все обещания сполна исполнил...

– Верно. Хорошо, что ты понимаешь. Это признак аристократии – уметь быть благодарным. Разве чернь может? Ни-когда. Ты это знаешь? Благодарность, Николя, – вот знак, по которому всегда можно отличить благородного человека от неблагородного. Поэтому все господа прогрессисты со своими проектами улучшения жизни народа обречены изначально. Плебс понимает только силу. А любые уступки воспринимает как слабость. Слабые ненавидят сильных – это закон. А когда сильные начинают подлизываться к слабым и бросать им

подачки, последние их еще больше ненавидят, но при этом еще и перестают уважать. В результате напряжение между классами увеличивается. Вот это мы и имеем в Сибири, на приисках. Сколько бы подачек им не кидали, они все равно будут бунтовать, потому что чувство благодарности им органически неведомо. Иван Парфенович Гордеев это на своей шкуре испытал, теперь, небось, поумнел. Викентий, надо отдать ему должное, изначально по этому поводу не оболыщался и с народом не либеральничал. Все-таки, что ни говори, но купеческое сословие свой разум и опыт имеет издавна. Гордеев же – из грязи в князи...

– Мама, мы о чем с вами говорим? – Николай счел возможным выразить свое недоумение. – Вы хотите рассказать мне об устройстве общества, как вы его понимаете? Может, я лучше книгу прочту?

– Не дерзи матери! Я о тебе забочусь, а больше и некому. Викентий Савельевич тебя как родного воспитал, что да, то да. Но ведь ты-то все равно наособицу получился. Теперь ему только на Ваську надеяться. А Васька, прости Господи, полный дурак вышел. Ох те-те, грехи наши тяжкие... Ах, Николая... В России все по-другому... Древняя земля, древняя культура. Каждый знает свое место... Разве можно в Сибири найти хорошую прислугу? Ты ей даешь указания, а она вылупит на тебя глаза и орешки лузгает... Стыд один!.. Знаешь ли, кто твой настоящий отец?

– Нет... а вы мне сейчас сказать хотите? – в ореховых глазах Николая зажглись разом: мальчишеское любопытство, тревога, надежда непонятно на что.

– Иди сюда, – мать подозвала сына поближе, заставила наклониться и что-то прошептала ему на ухо.

– Вот так даже?! – Николай отпрянул от матери, задумался, явно прикидывая, можно ли верить сказанному. По всему получалось, что можно. Некоторое время по лицу молодого человека, словно отблески фейерверков, пробежали самые разнообразные мысли и прожекты. В конце концов иллюминация погасла. – Он никогда не признает меня, даже если и знал...

– Знал, – кивнула Евпраксия Александровна. – И принимал деятельное участие в моем устройстве... А насчет признания... Смотря в каком качестве ты перед ним явишься. К старости, знаешь ли, многие люди становятся сентиментальными. Тем более, что, по моим сведениям, других сыновей у него нет. Только две дочери...

– А в каком же качестве я могу явиться? – Николай взглянул на мать с искренним недоумением. – Николаша Полушкин, сын сибирского подрядчика. Что ж еще? В университетах мне учиться уж поздно, пожалуй, да, если честно, то и охоты нет... Да отец меня и не отпустит никуда. То есть, отпустить-то отпустит, конечно. По его понятию, пусть бы я и вовсе катился с глаз, коли к казенным поставкам меня не приставишь... Но ведь денег-то не даст. А что в столицах без денег?

Крайняя дверь анфилады приотворилась, в проеме, диковинно высоко над полом, всунулась веснушчатая, почти мальчишеская физиономия:

– Маменька! Я вас спросить хотел...

– Поди! Поди сейчас, Вася! – раздраженно крикнула Евпраксия Александровна. – Видишь же, я с Николашей разговариваю! После спросишь!

Физиономия обиженно сопнула и скрылась из глаз.

Евпраксия Александровна обернулась к старшему сыну. Глаза ее блеснули возбужденно и торжествующе. Пальцы скомкали бочок от ватрушки, на поджаристой корочке остались следы ногтей. Казалось, она скинула добрый десяток лет.

– Об этом и разговор, если ты не понял, – усмехнулась она. – Чтобы иметь должное положение и необходимые в столице финансы, прежде ты женишься на дочери Гордеева. Все равно уже возраст пришел. А она когда-то по тебе сохла...

– На хромоногой Машке? Да вы что, мама?! На что вы меня толкаете? А еще говорите на всех углах, что любите меня, дескать, без памяти... Да я лучше... Я лучше на младшей

дочери остяка Алеши женюсь! Она пусть косоглазая, зато не хромает и ладаном от нее не несет. Пусть дурочка, пусть смеется все время... С ней хоть позабавиться можно. А Машка... она, мало что калека, она же скучная и холодная, как зима без снега. А Гордеев – самодур из самодуров, почище Викентия Савельевича в сто раз. И этакую долю вы, маменька, своему любимцу... Ну, не ожидал!

– Николя! Я думала, ты умнее, – Евпраксия Александровна дернула самым уголочком губ.

Более позволить себе не могла, слишком много на карту поставлено. А ну как Николаша взаправду заупрямится! Другого шанса не будет. Зачем тогда дальше жить? Один взгляд на старшего сына, на его породистое, нервное, надменное лицо – и сразу вспоминается московская жизнь, молодость, сверкание огней... Кудрявая зелень тихих садилов, подвешенные на цепях качели, нежный шепот и как бы случайное прикосновение горячей руки... Даже снег в Москве пах удивительно и тонко – только что распустившимися ландышами. Тройка, запряженная в расписные сани, нетерпеливые лошади опускают головы, потряхивая длинными гривами и покусывая снег. Взбитая пена серебристых мехов, из которых, словно из гнезда, высываются хорошенькие девичьи личики, покрасневшие от мороза.

Тронулись. След от саней, края которого заботливо окопаны лопатой, возвышается над очищенными тротуарами более, чем на полметра. Взгляд сверху. Москва, деловая пестрота Китай-города, все у девичьих ножек, обутых в белые фетровые валенки. Встречные кавалеры учтиво раскланиваются. Прохожие из простых, милые, румяные, с ясными светлыми глазами и русыми бородами в инее, улыбаются вслед тройке, машут меховыми рукавицами. Легкие сани несутся как ветер, а копыта лошадей отбрасывают назад твердые, как град, ледышки, барабанной дробью стучащие о защитный фартук. Над домами, прямо в безмятежном небе то и дело круглятся лазурные, в золотых звездах купола...

В Сибири же снег пахнет репой и мороженой рыбой. И лица даже у мастеров и инженеров тупые и плоские, как будто только вчера вытесали их из сырой деревяшки...

– Я объясню тебе, а ты постарайся выслушать и понять... Не морщись, я долго думала, потому знаю, что говорю. Гордеевский единственный сын Петька – остолоп еще покруче твоего, и на спиртное слаб. Надежды на него у Гордеева никакой, да и ты при случае сможешь им вертеть как захочешь. Вы ж друзья с детства. А Машеньку все равно пристраивать надо или в монастырь везти, как эта сушеная старуха, гордеевская сестра, хочет. Теперь смотри: хочет ли Гордеев отдавать в монастырь единственную дочь, которая хоть и калека, но не дура, которую он на свой лад любит, и которую на «пиванинах и по-хранцузски» выучил? Ясное дело, не хочет. Петя в своем доме не хозяин, значит – что? Что, я тебя спрашиваю?

– Я слежу, мама, за вашей мыслью...

– Очень хорошо, что следишь... Если кто к Машеньке посватается, Гордеев будет рад-радешенек каличку пристроить. И к делам подпустит, и к кошельку...

– Мама, вот здесь я не уловил. Какая мне выгода в том? Что я подрядами стану заниматься, что приисками – все одно. Зачем же мне на Машке-то жениться?

– Я думала, ты уж понял. Если ты Машу за себя возьмешь, она у тебя с руки есть будет. Отец отцом, но муж-то для женщины всегда ближе. Тем более для такой, какая и на замужество-то не надеялась. Вот и поведешь ее так, что здесь, мол, в Сибири, не жизнь, и надо вам с ней перебираться в Россию...

– Мама! Да зачем она мне в столице? Только свяжет по рукам и ногам... Да и не согласится она никогда папеньку оставить. Она же трусиха жуткая, всю жизнь за печкой просидела...

– Николя! Ты все-таки дикарь порядочный! Да чем она тебе помешает! Что она, по-твоему, в свет там выезжать будет? На гуляния? Окстись! А поедет, потому что ты, муж, так захотел. Здесь за печкой сидела и там сидеть будет. Только тут папенька Гордеев под боком, а там и вовсе никого. А ты будешь жить на гордеевские деньги в свое удовольствие... Отец твой,

я имею в виду родного отца, по слухам, не то, чтобы в опале, но... в несколько стесненных нынче обстоятельствах. Я думаю, познакомившись с сыном, зятем сибирского золотопромышленника, он не откажет тебе в некоторых рекомендациях, которые откроют для тебя двери... Ох, Николая! Ты вырос в глуши, и представить себе не можешь... Я никогда не прощу ни тебе, ни себе, если ты упустишь такую возможность... Да и я сама не хочу доживать здесь свой век...

– То есть, мама, если я вас правильно понял, вы желали бы отправиться со мной и моей предполагаемой женой в Москву или Петербург? А как же Викентий Савельевич? Васька?

– Оставь, Николая. Ты должен осуществить свою часть плана. Со своими делами я разберусь сама.

– Но что, если Машка, соскучившись жить со мной, нажалуется Гордееву? Ведь я ее любить не могу. Он отзовет ее назад, а мне без его денег...

– Не будет такого!

– Отчего же?

– Во-первых, оттого, что никогда Машенька жаловаться не станет. Гордость не позволит. Такие, как она, жизнь несут, как крест, да еще, дураки, и гордятся тем. Они, как радость какую заполучат, так в церковь бегут, прощения у Бога просить, что вот, мол, повеселиться довелось. Так что ей, в каком-то смысле, чем хуже, тем лучше. Встречала я таких, породу их знаю. Исплатить им. А во-вторых, безгрешных людей Господь сразу на небо забирает. А мы, все здесь, – грешники. И Гордеев – грешник не из последних. И некоторые его грехи нам известны. И доказательства имеются. И можно эти доказательства при случае и передать...

– Ма-ама... Вы, однако, и вправду все продумали... Я удивлен. Но только вся здешняя полиция у Гордеева с рук ест...

– Имеются и повыше инстанции. А золото – это все же казенный интерес. И каналы, по которым оно в Китай уходит... Найдутся такие, кто заинтересуется... Гордеев собственную дочь и собственное дело подставлять не станет и никаких денег на то не пожалеет. А если супруга и вправду захочет в Сибири жить, то в чем твоя беда? И в перспективе, гляди: оба наследника гордеевских у тебя на короткой веревочке, как захочешь, так и станешь капиталом распоряжаться. Захочешь, превратишь все в деньги и за границу уедешь... Мне-то к тому времени уж все равно будет... Ну, что теперь скажешь? Любит тебя мамочка или как?

Уходя из комнат матери, Николай оставался задумчив. Весьма кстати вспомнился недавний разговор с Петей на охоте... Да, пожалуй, штуцера и свору пока придется забросить. Тут поинтересней охота намечается. Если, конечно, все обмозговать как следует и очень тонко разыграть...

Глава 7

В которой егорьевские властители взбудоражены дерзким воровством и душегубством, а девушки, как им и положено, думают все больше о своем, о девичьем...

Словом, жил городок сам по себе, читал столичные газеты месячной давности; а новостей, впрочем, хватало и своих. Вот, например, вышла в палисадник поповская дочка Фаня, глядит: а куда это становой исправник Овсянников скачет? Вид такой важный, по сторонам не глядит, проехал – не поздоровался. Ясно – к Гордееву. Поповна не поленилась, добежала до угла, посмотрела – точно, к гордеевским хоромам сворачивает, а там уж ему навстречу ворота открывают. Ох, неспроста приехал! Что-то ведь случилось третьего дня в тайге. Слухи быстро расплзлись. Да только никто как следует не знает – что именно.

Ворота распахнулись перед всадником, конюх Игнатий поспешил принять жеребца. Румяная курносая девица в пестром платье с оборками, подвязывавшая у ворот золотые шары, отвесила поклон. Приезжий – коренастый, круглый и крепкий, как башкир, в зеленом мундире, встопорщенном на боках, – глянул на нее хоть и с удовольствием, но коротко; и быстро двинулся по широким деревянным мосткам к дому.

– Чегой-то он такой суровый-то? – сделала красавица круглые глаза, подаваясь к Игнатию. – Никак и впрямь все правда, что болтают? Я сама в конторе слыхала: жалованье на приiske третьего дня должны были выдавать. А до сих пор...

– Может, и правда, а дело не наше. – Игнатий погладил вороного по холке и ухмыльнулся, глядя на девицу. – Ты, Аниска, с чего разрядилась-то? Вроде не праздник. Давно тычка от Марфы Парфеновны не получала?

– А, ништо, – Аниска слегка раздраженно мотнула косой, – постом все в буром ходила, теперь не стану. Чай, не монашка. Ты мне лучше скажи, что там в тайге-то... – она умолкла, остановленная значительным взглядом конюха. Тот явно не был расположен попусту болтать.

Игнатий увел вороного в конюшню. Аниска с минуту постояла посреди двора, горестно вздыхая. И впрямь – дела не наши. Сунешься, а нос-то и прищемят. Но любопытно было – страсть как. Поколебавшись еще немного, она опасливо глянула по сторонам, убедилась, что следить за ней некому, и, подхватив подол, побежала к дому. Только не к парадному крыльцу с высокой лестницей и резным куполом, а – за угол. Скользнула в черную дверь, переходами, темными низкими комнатами, по крутым ступенькам добралась до квадратного коридорчика, почти целиком занятого цветущей китайской розой. В коридоре было окно и две двери. За одной – лестница, а из-за второй доносились голоса. Аниска затаила дыхание и глянула в щелку.

– Приложим все силы, Иван Парфенович. Татей непременно изловим, – хрипловато гудел становой исправник Семен Саввич Овсянников.

Он сидел в кресле напротив хозяина, от которого его отделяла обтянутая темно-коричневой кожей поверхность письменного стола. На столе, как всегда – порядок: тисненый бювар, чернильный прибор темного малахита, часы с бронзовым кентавром. Сбоку, на специальном столике, под стеклом – макет Мариинского прииска. Исправник держал в руке стакан, на дне которого плескалась зелено-золотая жидкость – из бутылки, что возвышалась посреди стола на подносе. Такой же стакан стоял и перед Иваном Парфеновичем – только полный.

На хозяина Аниска боялась взглянуть. Почему-то была уверена: тотчас заметит. А тогда – помогайте, святые угодники! Подслушиванья да наушничанья Гордеев не терпел. Но взглянуть хотелось – хоть одним глазом: что он, сильно ли сокрушен? Ведь если и впрямь – все *правда*, тогда сколько ж он денег-то потерял! И люди полегли...

Нет, сокрушенным Иван Парфенович никак не выглядел. Точно такой, как всегда. Разве что вот бороду покручивает. Была у него такая привычка: крутить прядь от бороды, когда что-то надо было решить или дела шли не так. Борода, кстати, богатая: золотистая, как лисий хвост, и почти без седины. Кроме нее, не было в его внешности, пожалуй, ничего примечательного. Главное – осанистости. Вроде и не мелкий, но купцам-то, известно, объем полагается, проще говоря – пузо. Этого не имелось. И лицо тоже – самое обыкновенное. Разве что глаза. Небольшие, серые в желтую крапинку, и видят все насквозь. Ясное дело – умище! Его не спрячешь.

– Изловить-то изловите, а деньги мне кто вернет? – усмехнулся Иван Парфенович. Взял стакан, подержал, поставил на место. – Жалованье чем платить рабочим? Не заплачу, а они – бунтовать, а Гордеев снова – аспид, злодей рода человеческого. Эксплуататор!

– Этих революционных разговорчиков мы не допустим, – деловито хмыкнул Овсянников, – зловредные источники нам известны. Искореним, будьте покойны! И деньги постараемся вернуть. Лично я... Тут, Иван Парфенович, еще вот какая заусеница, – он вынул из папки, пристегнутой к поясу, несколько бумаг и выложил на стол перед хозяином. – Поглядите-ка: указанный господин вам с какой-нибудь стороны известен?

Гордеев, не выказывая ни удивления, ни иных чувств, молча взял бумаги. Аниска напрягла зрение. Одна – точно паспорт, остальные... Да разве разберешься? Она и вблизи-то не разглядела бы. Иван Парфенович прочитал вслух:

– Опалинский Дмитрий Михайлович.

Посмотрел на исправника:

– Как же не известен. Мой собственный управляющий. Правда, в глаза я его еще не видал. Овсянников, казалось, обрадовался:

– Вот и разъяснилось! Он то же самое говорит. Опалинский Дмитрий Михайлович, из потомственных дворян, горный инженер, кончил полный курс в Санкт-Петербурге. Экая птица! А в наших дебрях чуть живота не лишился.

Гордеев слегка поморщился.

– Постой. Он, что – тем же поганцам попал под руку?

– Именно! Ехал к вам в почтовой карете. Два казака с жалованьем – ну, как положено; еще попутчик, некто... а, вот: Дубравин Сергей Алексеевич, мир праху его. Они, поганцы-то, Дубравина сразу – насмерть, а из нашего инженера только дух вышибли. А он полежал, полежал, потом очухался и пошел. Два дня шел! И не заплутал, вот что чудно. А в участке-то его сгребли и – в холодную. Пока разобрались, мне доложили. Мне-то, покаюсь, Иван Парфенович – сперва не до него было, я сразу – в лес, да только напрасно. Ни разбойничков, ни кареты, ни трупов.

– Где же он теперь?

– Да где? В участке, ясное дело. Прикажете доставить?

– В участке? – переспросил Гордеев тихо, и глаза его, сузившись сделались совсем желтыми. – Два дня, говоришь, по тайге шел, просидел в холодной, тебе документы представил – и опять в участке?..

Он снова взял стакан – и отставил так резко, что вино выплеснулось на кожаную столешницу. Аниска, которой гордеевский нрав был прекрасно известен, живо отпрыгнула от двери.

– Сказал бы я, Семен Саввич, – донеслось до нее напоследок, – да мундир на тебе. Государственного человека срамить не стану...

Управляющий! Из потомственных дворян! Обучался в самом Петербурге! Да к тому ж герой: не сдался разбойникам, два дня шел по тайге и не сгинул! Это чем же он управлять-то станет – прииском? Либо Иван Парфенович еще какое дело затеял? Новости распирали Аниску. С кем поделиться? Она подалась было в кухню, но на полпути передумала – и побежала искать хозяйскую дочку, Марью Ивановну.

Сперва – наверх, в комнаты. Этих комнат, обставленных на современный городской лад, всего было три: гостиная, спальня и гардеробная. Небольшие, слегка сумрачные: за низкими окнами – разросшиеся в саду рябины и сливы. По-хорошему, давно бы уж эти деревья вырубить, но Марья Ивановна не разрешала. Вечером закатное солнце сквозило меж ветками, наполняя комнаты чистым червонно-розовым светом. Зато по утрам здесь было полутемно, а в гостиной темно-зеленые обои создавали и вовсе странную атмосферу: будто в лесу или на дне омота. Аниску от этого мороз пробирал, а Машеньке – в самый раз. Да что удивляться; ей, думала Аниска – чем мрачнее, тем милее.

Впрочем, на сей раз Машенька в комнатах не сидела. Аниска отыскала она ее в саду. В самых что ни на есть дремучих зарослях. Она часто, как позволяла погода, тут время проводила – на удобной полукруглой скамейке, один край которой, по ходу солнца, всегда был на свету, а другой в тени. Здесь и чай пила, и книжки читала, и писала что-то на листочках. Насчет ее писаний Аниску давно разбирало любопытство: молитвы, что ли, записывает? Или письма? Да письма-то – кому? Родне уральской? Так Иван-то Парфенович с сестрой – Аниска слыхала, – как есть сироты. Сам-то еще мальчишкой сбежал с завода, а уж потом, после отмены крепости, привез Марфу Парфеновну.

Лучше б не привозил, с досадой подумала Аниска; и тут же устыдилась. Не сахар, конечно, хозяйская сестрица. Все у нее – грех, лишний раз не засмейся; а уж если, не дай Господь, пропадет какая веревочка либо лоскуток заваливший – будет пилить, пока всю душу не вынет! А все-таки – бывают и хуже. Взять хоть Евпраксию Александровну Полушкину. Та хоть и замужем за подрядчиком, а – дама, из настоящих дворян. Да что толку. Прислуга от нее стоном стонет.

Ой, да разве до этого сейчас! Аниска отмахнулась от ненужных мыслей – и раздвинула ветки калины с тяжелыми кистями красных ягод, открывая путь к заветной Машенькиной скамейке.

Маша еще издали услышала ее приближение. Быстро закрыла книжку, спрятав между страниц тонкий карандаш и густо исписанный листок. Подняла голову.

– Аниска, ты что? Батюшка зовет?

Она сидела на солнечной стороне скамейки, и волосы ее на свету ярко золотились, сделавшись почти такого цвета, как отцовская борода. На самом-то деле они у нее просто – светлые. То есть, можно было бы сказать: будто спелая пшеница или еще как. Да пшеничные-то косы только у красавиц бывают, а Маша – ну, какая она красавица? Худенькая, бледненькая, все у нее из рук валится, от дома до церкви со своей хромой ногой дойдет, и уже надо сесть передохнуть. И даже не это главное, а то, что она как не от мира сего. Смотрит – не видит, слушает – не слышит. Глаза будто внутрь себя повернуты. И ведь глаза-то – этого Аниска не могла не признать – хороши. Будто вода озерная, и по ней рассыпаны золотые искры, точно как у отца. Только вот жизни в этих глазах и на сотую долю нет по сравнению с отцовскими.

Словом, гордеевскую дочку можно было пожалеть. Хотя и достоинства за ней водились, Аниске недоступные. Книжку какую хочешь могла прочитать, что по-русски, что по-французски. А недавно начала с Левонтием Макаровичем Златовратским изучать латинскую грамоту. Зачем, спрашивается? Латинцы эти, Аниска слыхала, давным-давно все перемерли. Ну, им, ученым людям, виднее. Да вот еще – музыка. Иван Парфенович выписал чуть не из заграницы два здоровенных музыкальных ящика. Один, побольше, взгромоздили к Машеньке в горницу, другой – во флигель для общественных собраний. И так она ловко выучилась на этих форте-

пьянах играть! Сперва-то не очень получалось, а нынче – заслушаешься. Настоящая барышня, даром что крестьянского звания. Аниска так ее и звала: барышня. Куда до нее Евпраксии Полушкиной.

Выбравшись из кустов, Аниска торопливо заговорила, размахивая руками:

– Ой, что случилось-то! Прямо ужас! Всех разбойников положил и сам чуть жив остался! Неделю в тайге, не евши, не пивши! Сюда пришел, а его – в холодную! А Иван Парфенович так осерчали!

– Постой, – Маша сразу встревожилась, – ты о ком?

– Да как же! Управляющий! Из Петербурга! Ученый, дворянин, герой и собой красавец!

– Управляющий? – Маша, не понимая, затеребила конец косы, – точно как отец ее теребил бороду. – Какой управляющий? Печиного? Так он же...

– Ой, матушки, – Аниска от ее бестолковости аж скривилась, – говорят же вам: новый управляющий, из Пе-тер-бур-га! Опалинский Дмитрий... вот дальше не помню.

Маша, глядя на Аниску – вернее, куда-то слегка мимо, в пространство, – молча пожала плечами. Аниска поддала жару:

– С почтой сюда ехал! А воропаевские-то и напади! Так он их всех раскидал. Самого, слышь, Воропаева на сосне повесил! А теперь в участке сидит! Едва живой, а его под замок. Как бы не помер! А к Ивану Парфеновичу – господин Овсянников: ваш, говорит, такой-то и такой-то? Говорит, как есть герой!

– Подожди, Аниска, у меня от твоего крика в голове звенит, – Маша виновато улыбнулась, морщась, – ты сказала, на почту напали? И что теперь? Люди целы? А деньги? Там же должно быть жалованье для прииска. Ведь рабочие...

– Людей как есть всех поубивали, – Маша ахнула, Аниска заторопилась перескочить с кровавой темы:

– А деньги найдут! Семен Саввич так и сказал: и татей сыщем, и денежки ваши вернем до копейки, а злодея Воропаева – в железо и на Колыму!

– Но Воропаева, кажется, новый управляющий на сосне повесил? Или я что-то не так поняла?

– Ну, не повесил! – Аниска с досадой фыркнула. – Других повесил, а Воропаев ушел. Ништо, сыщут... Да что вы, барышня, ей богу – все не о том. Я ж вам толкую: герой, как есть герой! Нынче вот к батюшке вашему явится, мы на него и поглядим. Да я боюсь – заробею, встану столбом, они мне – полотенце подать или что, а я...

Она продолжала азартно трещать; Маша, уже почти ее не слушая, пробормотала будто самой себе:

– Новый управляющий... Знаешь, нынче утром синица рябиной в окно кидалась. Тетенька говорит: не к добру. А я думаю... кабы не только герой, да еще и голова на плечах. Батюшке бы польза. Только вот – как же Матвей Александрович? – и, совсем тихо:

– Это нехорошо.

Нехорошо! Гордеев и без Маши знал, что – нехорошо. Матвей Александрович Печиного инженер был отменный и прииск держал в железном кулаке. Никакой иной управляющий и даром был не нужен. Пустая трата денег и ценному работнику обида.

Да в том-то и дело, что пустых трат Иван Парфенович никогда не допускал. Была, значит, нужда. И еще какая.

По-настоящему она, эта нужда, обозначилась не так давно. Четыре месяца назад, в морозный апрельский день – как раз перед оттепелью, с которой началась весна. В тот день должен был возвратиться с прииска Петруша Гордеев, отправленный туда отцом проверить, как идут дела.

Проверяльщик из него был, прямо скажем, аховый. Петеньку с детства одолевало непобедимое отвращение ко всякого рода активным действиям, причиной коего была не лень, а – тоска. Ни к чему-то у дитяти не лежали руки. Игры там, проказы всякие – если и случались, то вроде как через силу. Он даже голубей не гонял. Зачем? Все одно выйдет наперекосяк. Батюшка поглядит и плюнет.

Живя таким образом, Петя иногда сам себе бывал не рад. И впрямь: что за радость от жизни, если она сплошь – серая, как осенняя слякоть? Он и пить-то начал от этой серости. Сперва показалось: вот оно, лекарство! Хлопнешь стопку – и засветилось вокруг, видно стало: вот – кулебяка с зайчатиной, объеденье, вот девка подмигивает, манит сдобной грудью... Вкусно! Зато потом... Проспишься – еще хуже. Не слякоть, сажа черная, хоть травись. А не пить уже нельзя. Как не пить-то? Все пьют! А ему, Петру Ивановичу Гордееву – везде почет и угощение, в любом кабаке открытый кредит.

Потом-то, правда, иначе стало. Батюшка позаботился: в штофных лавках Петруше не одалживать, а в «Луизиану» не пускать вовсе. Бедный Самсон Лазаревич, трактирный сиделец, так и трясся теперь меж двух огней:пустишь – Гордеев шкуру снимет, непустишь... да поди-ка непусти! Петр Иванович, он с пьяных-то глаз и по шее навешать может, и стекла побить. Поди потом, ищи справедливости.

Николаша, которому зачем-то нужно было в ту сторону, составил Петру компанию по пути на прииск. Ехали верхами, по накатанной дороге. Плотный снег искрился на весеннем слепящем солнышке, с кедровых лап свисали переливчатые плачущие сосульки, в темной хвое радостно посвистывали клесты. Короче – благодать. Только у Пети на душе смурно и тягостно. Да еще – трезвый с утра, вот напасть.

– Со всех сторон обиды, а самые злые – от него, от бабушки, – бубнил он угрюмо, воткнувшись взглядом в лохматую гриву каурого Соболя. – За щенка держит. Ладно бы – вовсе к делу не подпускал, а у него все назло. Вот нынче, спросишь, зачем послал? Страмитесь, только и всего! Будто я не знаю, что там, на прииске, все и без меня отлажено. Печинога этот старается, чурка с глазами, – выслуживается перед отцом...

– Про Печиногу это ты зря, – лениво покусывая березовый пруттик, возразил Николаша, – он мужик дельный.

– Да мне-то что!

– Ладно, не обижайся. Ты ж сам все терпишь. Я бы на твоём месте не терпел.

Петя угрюмо хрюкнул. Злость, усиленная непривычной трезвостью, разбирала его – и на отца, и на приятеля: тоже взял манеру разговаривать, то ли сочувствует, то ли издевается. Не сдержавшись, буркнул:

– Ну, тебе на моем месте не бывать. Твой отец хоть из шкуры выскочит, да мой-то все равно десяток таких, как он, продаст и купит.

– Оно так, – улыбнулся Николаша вполне добродушно, и это разозлило Петю еще больше, – я, знаешь ли, на отца и не рассчитываю, на себя только... Да ты что смурной такой? Стремно с утра? Вот и мне, брат – тоже.

Петя моргнул недоуменно – голубоглазый красавец никак не походил на человека, мучающегося с похмелья. А, да какая разница. Гордеев-младший слегка воодушевился, переключив голову на более привычные и приятные мысли:

– А у тебя с собой есть?

– Да не с собой. Вон, гляди: до сосны трехглавой доехали. Дальше хошь на прииск поворачивай, хошь на Кузятино. А в Кузятине-то, у Макарьихи, чай, ни тебя, ни меня не обидят.

– Это точно, – хохотнул Петенька, тотчас ощутив во рту вкус забористой макарьихиной браги, а телом – ласковое тепло самой солдатки Макарьихи, которой чихать на отцовы запреты, – то есть, мы вроде по делам... Да ништо! Приедем на полдня попозже, и все тут. Верно?

Николаша молча улыбнулся. На такое дело, как выпивка и гулянье, Петю и подбивать не надо – только намекни. И на прииске его, пожалуй, нынче уж не дождутся. Да и зачем он на прииске-то? Там и впрямь все налажено. Матвей Александрович Печиного – мужик дельный.

Проблема, однако, состояла в том, что Матвей Александрович Печиного вот уже неделю на прииске отсутствовал. Уехал он в Тобольск – за чертежами и деталями для новой промывальной машины, каковую надлежало установить на месте той, что прослужила уже тридцать лет, с самого открытия прииска. Машина эта была в свое время сработана, можно сказать, наспех, и нынче уже не столько помогала, сколько мешала делу, да и деревянные крепления ее подгнили и расшатались. Инспекция от губернского горного правления, посетившая владения Гордеева в прошлом месяце, строго наказала Ивану Парфеновичу поторопиться с заменой. Вот Печиного и отправился в Тобольск. Вместо него был оставлен десятник Емельянов – работник знающий и отменно добросовестный, однако с изъяном. Впрочем, что значит изъян? Если человек никогда ничего не решает без указания начальника – изъян ли это? В присутствии начальника – скорее достоинство; потому Печиного его при себе и держал. А в отсутствии... Короче, Гордеев для того и послал сына на прииск: велеть Емельянову, чтобы остановил от греха подальше машину, сам-то ни за что не сделает, хоть она у него на глазах рушиться начнет.

Все это Петруше было известно – теоретически. А практически он отцовских указаний при отъезде не слушал, поглощенный своими обидами. Да и если б слушал. Сами посудите, что слаще: Макарьиха с бражкой или прииск этот? Темно-бурый от грязи снег, вонища, рабочие глядят волками...

О том, что промывальная машина таки рухнула, придавив семерых рабочих (троих – насмерть), Иван Парфенович узнал в тот самый день, когда Петя должен был вернуться с прииска. Узнал не от сына – от мальчишки, которого прислал к хозяину ошалевший от страха Емельянов. Петя прибыл только назавтра – в чужих санях, недвижимый как бревно, насквозь просмердевший сивухой. Где он провел эти дни, Гордеев не стал и выяснять. Что толку? Да и не до того было.

Разбирательство заняло две недели. С комиссией, возглавлявшейся исправником, удалось полюбовно договориться, назревший было бунт – подавить в зародыше. Проводив исправника, зашел Иван Парфенович в контору – без особой надобности, убытки уже десять раз были посчитаны и перспективы намечены, – и там, посреди незначашего разговора, вдруг схватился за грудь и повалился со стула на пол, смахнув стопку бухгалтерских тетрадей и ввергнув в ужас робкого конторщика Дементия Лукича.

Поднялся переполох. Прислуга и работники никак не могли взять в голову, что такое и впрямь случилось: сам Иван Парфенович Гордеев, всемогущий и несокрушимый, как Чуйский утес – и вдруг лежит без памяти, да, гляди, вот-вот скончается. Даже Марфа Парфеновна поддалась бестолковой суете, не в силах решить, что важнее: бежать за самоедским знахарем Мунуком или немедля служить молебн прямо в доме. С Петеньки взятки были гладки: он в своих покоях отсыпался после очередного гулянья. Машеньке про несчастье с отцом и говорить не хотели. Да она сама узнала – невесть от кого; и, выбравшись из своей горницы, отыскала конторского мальчишку и отправила его за егорьевским доктором Пичугиным.

Пичугин оказался, слава Богу, на месте и трезв. Привести Ивана Парфеновича в чувство он сумел, но лечить не решился. Послали в Тобольск. Прибывшее оттуда медицинское светило довольно быстро подняло больного на ноги. Впрочем, возможно, что помогли и молебны, и привезенный таки из тайги Мунук, усердно заваривавший в каморке при кухне корешки и травы.

Когда всем стало ясно, что опасность миновала, у Гордеева состоялся со светилом приватный разговор.

Тобольский доктор – изящный, чуть грузноватый господин с остроконечной бородкой, какие носили когда-то благородные испанцы, – расхаживал по кабинету, уважительно качал головой, разглядывая оскаленные кабаньи рыла на лакированных щитах – по обе стороны изразцовой печи – и макет прииска под стеклянной крышкой. Потом уселся на диван, достал из кармана янтарный брелок на цепочке – и давай крутить его вокруг пальца с такой скоростью, что у Ивана Парфеновича зарябило в глазах. И объявил:

– Сие, милостивый государь, именуется аневризмой аорты. Сосудик такой, жизненно, можно сказать, важный. Кровь гонит к сердцу. Стенки у него уж очень тонкие... слишком тонкие. На просвет. Чуть что – и порвутся. Вы меня понимаете? – доктор внезапно бросил крутить брелок и сердито уставился на Ивана Парфеновича.

Тот молча кивнул. Потянулся было рукой к бороде – потереть по привычке, – но, глянув на докторский брелок, руку опустил. Он чувствовал растерянность и отчего-то неловкость. И впрямь – не умел болеть, не знал, что говорить и что думать. В общем-то, все было понятно. Хоть и слово чудное – аневризма. Отец когда-то вот так же схватился за грудь – и... Не самая плохая смерть. Быстрая. Но почему так рано? Отец – ладно, каменной пылью всю жизнь дышал на заводе, люди так и говорили: съел камень Парфена Гордеева.

Может, он, Иван, оттого и сбежал с завода в тайгу, на чистый воздух, на вольное житье!..

– Скоро порвется-то? – оборвав тягостное молчание, спросил он доктора спокойно, слегка ворчливо. – Сколь времени мне даете?

– Я не Господь Бог! – фыркнул тот. – Завтра. Через год. Через пять лет. Может, даже – через пятнадцать... но вряд ли.

Видно было, что этому господину, наверняка далеко не в первый раз провозглашавшему смертельный диагноз, почему-то очень не по себе.

Глава 8

В которой Софи раздираема противоречивыми желаниями, Вера подает ей надежду, а читатель узнает о том, на какую глупость может решиться доведенная до отчаяния девица шестнадцати лет от роду

У себя в комнате Софи прыгнула на кровать и сразу же приняла свою излюбленную позу: свернулась в клубок, обхватив руками колени, потом перевернулась лицом вниз, и уперлась подбородком в подставленную подушку. Аннет называла такое положение сестры «позой собаки» и утверждала, что Софи в этой позе страшно похожа на маленькую злобную собачонку, которая вот-вот залает.

Софи буквально колотило от злости, и упертый в подушку подбородок позволял хотя бы не лязгать зубами. Мысли и образы скакали в голове беспорядочными обрывками.

«Как же она могла?!.. Если бы был жив папа... Папа бросил все и сбежал... Аннет – дура... Все – предатели... Что же я?»

И как возможно оставаться здесь дальше, смотреть маман в лицо, и каждый раз вспоминать, что она хотела... Какое счастье, что уж недолго осталось! Какое счастье, что небо послало ей Сержа именно сейчас, а не годом раньше, когда она была еще ребенком, или двумя годами позже, когда...

«А что ж, если бы я не любила Сержа, то пошла бы замуж за Ираклия Георгиевича? Купилась бы на все его посулы и уговоры маман? Или нет?» – несмотря на всю свою склонность к иллюзиям, Софи умела задавать прямые вопросы не только другим, но и себе. Все окружающие ее люди единодушно считали оба умения недостатком.

На мгновение Софи представила себя перед алтарем рядом с Ираклием Георгиевичем. «Молодые, поцелуйте друг друга!»... И вот к ней тянутся эти синие морщинистые губы под вислыми усами, в которых застряли табачные крошки... Софи сильнее прижала колени к животу, подавляя рвотный спазм. Никогда!

Скорее бы Серж вернулся из этого проклятого имения, и все уж решилось бы! Софи казалось, что сегодня последние нити, еще привязывавшие ее к матери и семье, порвались окончательно. Даже плетение кружев на коклюшках в Нелидовке виделось сейчас более предпочтительным, чем пребывание в родном доме. Вместе с Элен вспомнились ее слова о том, как трудно девушке быть без поддержки и опоры. «Что я, горох, что ли?! – подумала Софи и даже фыркнула от возмущения. – Чего это мне за кого-то цепляться! Пусть только Серж вернется и поговорит со мной. Не нужно мне никакой опоры. Я сама буду ему во всем помогать. Если я чего-то не умею, так научусь. Мне пока просто не для чего учиться было. А если нужно будет для Сержа...»

Весь следующий день Софи провела в своей комнате, сказавшись больной. Маман после вчерашнего скандала разговаривать с ней не пожелала, Аннет боялась показаться на глаза. Гриша заскочил на минутку, не упоминая о вчерашних событиях (скорее всего, он их просто не заметил или не понял), пожелал сестре здоровья, рассказал смешной, но не очень приличный анекдот про попа и его петуха, и убежал куда-то по своим делам. Все на свете переживания не могли испортить аппетита Софи, и поэтому очень хотелось есть. Вера перед уходом принесла Софи завтрак, да еще девятилетняя сестричка Ирен, серьезное и очень молчаливое существо с двумя толстыми косами, притащила в обед креманку со сладким, полурастаявшим пудингом.

– Мама сказала, что ты без сладкого обойдешься, – прошептала девочка. – Так я тебе свой пудинг принесла. Я только ложечку съела. Ты, Соня, не побрезгуешь?

– Нет, конечно, Ирен! Спасибо тебе, – не глядя в креманку, Софи принялась запихивать в себя пахнущую ванилью массу. Обижать покладистую, незаметную сестру ей вовсе не хотелось.

Девочка облегченно вздохнула и осторожно дотронулась до рукава халата Софи.

– Ты, Соня, не огорчайся. Мама сейчас злится, а потом перестанет. Дядя Ираклий хороший, но уж очень старый для тебя – я понимаю. Тебе за молодого замуж хочется и ты все время о том думаешь... Только, прости, Сонечка, сейчас не выйдет ничего...

– Что-о?! – изумилась Софи, развернулась вместе с креманкой и внимательно взгляделась в сестру.

Темные-серые, папины глаза, как и у Софи самую чуточку приподнятые к вискам. Тонкие губы, очень густые, тяжелые пепельные волосы, сплетенные в две тугие косы. Вздернутый носик с весенними веснушками и... какая-то непонятная печаль на детском лице. Сейчас Софи поняла, что Ирен выглядит печальной почти всегда. С трудом она припомнила ее улыбку, но вот смех... Смеется ли Ирен вообще когда-нибудь?

– Что ты сказала сейчас, Ирочка? Что ты знаешь? – Софи постаралась говорить как можно ласковей, чтобы не спугнуть робкую сестру.

– Я ничего, Сонечка, не знаю, – печально вздохнула Ирен. – Я просто чувствую так.

– И что же ты чувствуешь? – ситуация все больше раздражала Софи своей неопределенностью.

– Ты думаешь о ком-то, надеешься, а он уж и не помнит про тебя. Совсем. Он... – Ирен слегка поколебалась, словно разглядывая что-то за спиной сестры. – Красивый...

– Не может быть, чтоб не помнил! – вырвалось у Софи.

– Прости, Сонечка! Я всем в тягость! – в темных глазах Ирен блеснули слезы, девочка повернулась, выхватила креманку из рук сестры и собиралась бежать.

Софи ухватила Ирен за рукав.

– Пстой! Что ты говоришь? Кому – всем?

– Гриша, когда в гимназию сдавать идет, всегда спрашивает: Ирка, выдержи? Я говорю... Потом, как провалит, кричит на меня. А что ж я, виновата, что он никогда урока не учит?!

– И что, всегда угадываешь?! – любопытство Софи разом пересилило ее сердечное беспокойство.

– Всегда, – покаянно вздохнула Ирен и опустила голову.

– А что ж ты еще угадываешь?

Ирен неожиданно зарыдала. Софи нерешительно погладила сестру по голове. Утешать она не умела, когда кто-нибудь плакал, ей всегда хотелось убежать куда-нибудь и заткнуть уши. Или уж пойти и сделать что-нибудь. Василий Головнин говорил, что это мужская черта.

– Ну будет, Ирен, будет. Уймись! Мало ли чего тебе привидится. У тебя просто такая нервная конституция. Это вроде болезни, насморк там или парша. Маман наша тоже такая была. Теперь, видишь, прошло.

– Это правда болезнь? Просто – болезнь? – глаза Ирен блеснули надеждой из-под опухших век. – И можно вылечиться?

– Конечно, – твердо сказала Софи. – Оно даже само пройти может. Если ты не будешь об этом каждую минуту думать. Вот смотри: тебе про меня показалось. А я твердо знаю, что это неправда. Тот человек, о котором я думаю, любит меня больше всего на свете. И скоро мы с ним будем вместе.

– Правда, Сонечка?! – просияла Ирен. – Он тебе сам так сказал?

– Тысячу раз! – ничуть не кривя душой, заявила Софи.

– Ой, как хорошо! – Ирен улыбнулась, сразу превратившись в очаровательного ребенка, и побежала прочь, приплясывая. На пороге обернулась, приложила пальчик к губам. – Я никому не скажу. А ты меня подружкой на свадьбу возьмешь? У тебя же сестер всего две, но с Аннет вы ссоритесь все время. Возьми меня, ладно? У меня во-от такой розовый бант будет, и локоны щипцами завьют. Я буду очень хорошенькая, тебе не стыдно меня будет...

После ухода Ирен Софи вдруг неожиданно поймала себя на очень странной мысли. Точнее, желании. Ей вдруг захотелось, наперекор всему, выйти замуж за противного старика Ираклия Георгиевича (а такой ли уж он противный? Ведь он же мне всегда нравился!) и разом обеспечить надежное будущее бодрому Сереже, который собирался идти вместе с ней по миру, веселому Грише, печальной Ирен и даже милому потертому карбонарию мсье Рассену («Я бы не дала маман его рассчитать, – подумала Софи. – А с Ираклием Георгиевичем они бы точно договорились»).

Что это еще за глупости?! – всполошилась Софи, отловив себя на том, что строит уже довольно подробные планы. Перед глазами промелькнул фасон розового воздушного наряда подружки (для Ирен), виденный в модном французском журнале; увитая плющом беседка в Осиновке (Софи всегда мечтала иметь такую беседку); лодочные прогулки с Гришей на острова Черемнецкого озера (Гриша гребет, а Софи собирает букет из упругих лилий); веселые игры с братцами и Ирен на лужайке перед красивым, хотя и несколько старомодным помещичьим домом все в той же Осиновке (дом, впрочем, можно будет слегка перестроить). Ираклий Георгиевич сидит с книгой в шезлонге на открытой террасе и с улыбкой наблюдает за играми детей. Маман приказывает подать самовар и баранок с медом...

Довольно! – сама себе скомандовала девушка. – А как же Серж и наша с ним жизнь? Выходит, я тоже предательница? Я же люблю Сержа?! Ну, конечно, люблю, – успокоила себя Софи. – Просто братцев я тоже люблю, и Ирен. Но это же совсем другое. Когда мы с Сержем поженимся, я уговорю его позаботиться о братцах. Ему же не сложно будет. А мсье Рассена мы к нашим детям найдем. Пусть он им про Наполеона рассказывает и французские сказки читает...

Когда Вера внесла на подносе вечерний чай, Софи сразу же поняла: что-то произошло. Лицо Веры, как обычно, оставалось бесстрастным, но на скулах алел румянец, а где-то в глубине глаз конвульсивно подергивались зеленые чертики.

– Вот, барышня, чай вам, и повидло яблочное...

– К черту повидло! Говори, что узнала!

Вера еще чуть помедлила, наслаждаясь значительностью момента, аккуратно пристроила поднос на столик, поправила завернувшуюся салфетку. Софи готова была растерзать горничную. Но тогда уж точно ничего не узнаешь...

– Сергей Алексеевич ваш приехал. Вчерась, ввечеру. Да только снова уезжать собирается. На этот раз надолго, как бы не навсегда...

– Навсегда?! – ахнула Софи. – Как же так? Куда? Откуда ты знаешь?

– Мне камердинер евонный сказал, Никанор, – начала с конца Вера. – А куда – это он и сам толком не знает. Сказал только: прощай, Вера, уезжаем мы с хозяином в дальние края!

– А чего это он с тобой прощается? – удивилась и насторожилась Софи. – Вы разве знакомы? Он разве не с Сержем в имении был?

– Да он приезжал как-то, – равнодушно откликнулась Вера. – Барин его какую-то пустяковину забыл, а обойтись не может. Вот и послал Никанора. Тут меня с ним и познакомили, как я интересуюсь...

– А чего ж ты мне не рассказывала?

– Да чего попусту беспокоить? Это ж не барин приехал, слуга. Теперь вот говорю...

– Ладно! – Софи решительно вскинула голову. – Я должна его непременно увидеть до отъезда. Может, я с ним поеду...

– Прямо так вот?! – не скрывая удивления Вера. – А как же...

– Мне все равно, мне важно, что он скажет. Ты позвала его? Сказала?

– Да нет, я и не видела его. Как поговорила с Никанором, так и решила сначала вам доложиться. Подумала, может, ввиду скорого отъезда его...

– Не надо было тебе думать, Вера! – решительно сказала Софи. – Ступай, и позови его.

– Сейчас? Ночь на дворе. Куда ж я пойду? Да он меня и слушать не станет. Что, скажет, за срочность!

– Правильно, – подумав, согласилась Софи. – Пойдешь завтра с утра, чтоб он не успел по делам уйти. А днем я его ждать буду...

Дождалась.

И что ж? Прошлому конец. Папá, которого считала лучшим другом, сбросил все карты и сбежал туда, откуда не возвращаются. Маман желала бы повыгоднее продать старшую дочку милому грузинскому дядюшке Ираклию и тем обеспечить себе и остальным детям сносное будущее. Серж, с которым собиралась прожить всю жизнь... Серж прямо сказал, что он едва помнит ее и никаких чувств к ней не испытывает... Права оказалась младшая сестренка, будь она неладна! Из всех мечтей... тьфу, мечтов... тьфу, мечт... склоняются они хоть как-то? В общем, из всего получилась большая куча дерьма...

«Фу, Софи, как ты груба!» – сказала бы маман, если б могла подслушивать мысли. Хорошо, что не может. Но что ж теперь – ядом крысиным травиться, или, может, как бедная Лиза – в канавку броситься?

Вот еще! Не дождетесь!

Ладно, – утешила себя Софи своей любимой приговоркой, доставшейся ей от старенькой няни. – Что-нибудь да будет, потому что никогда не бывает так, чтоб ничего не было.

Девушка вытерла щеки об подушку, а глаза – обшлагом платья.

– Давай умываться! – скомандовала она Вере.

Вера с готовностью наклонила кувшин.

– А что, Никанор говорил тебе, когда они с Сергеем Алексеевичем едут? – спросила Софи, вытираясь жестким полотенцем, от которого почему-то пахло анисом.

– Точно не сказал, твердил только, что вскорости... А вы-то как промеж собой договорились? Или не сошлось что?

– Он не хочет, чтоб я с ним ехала, – независимо сообщила Софи. – Гадкий какой, правда?

– Ну... – Вера дипломатично пожала плечами. – Тут его дело, мужское... Вы ж не знаете, чего у него там приключилось, что он срочно из Петербурга съезжает. Может, он вас оберечь хочет?

Несколько мгновений Софи сосредоточенно размышляла, потом вдруг ее заплаканное лицо просияло:

– Вера! Как здорово! А я сама не подумала! Ты, Вера, умнее всех моих знакомых барышень во сто раз! Я тебя так люблю!

– Это за что же, барышня, вы меня скоро так полюбили? – не скрывая недоумения, может быть, даже слегка изображая его, поинтересовалась Вера.

– А вот за то! У Сергея Алексеевича, конечно, что-то случилось. Может, неприятность какая, или даже горе. И уехать ему надо, и вовсе недосуг. А тут я лезу! Он потому и не стал мне о своих чувствах говорить, и груб был со мной, чтоб напрасных надежд не будить, и чтоб я считала себя свободной...

– Свободной от чего? – искренне удивилась Вера. – Вы с ним, что же...

– Да нет, нет! – Софи с досадой махнула рукой. – Ты, Вера, не понимаешь и не поймешь никогда, потому что из деревни и в свете не бывала... Ты не подумай, что я корю тебя. Все люди перед Богом равны... Просто у нас все по-другому...

– Это уж точно! – усмехнулась горничная. – И что ж вы теперь с этим «другим» делать будете? За Ираклия Георгиевича пойдете?

– Откуда ты?.. – Софи оборвала себя. Прислуга всегда все знает, пора уж запомнить. – Никогда я за него не пойду!

– А жить как же? Господа-то без денег жить не привыкли...

– Отвяжись! – на этот раз Софи уловила издевку и тут же ошетибилась. – Не твоего это ума дело!

– Ну вот, – притворно вздохнула Вера. – Такова из веку барская любовь: то люблю, то вон пошла...

Софи внимательно взглянула на Веру, но ничего толкового не разглядела. Ну и Бог с ней! Грамоте она знает, да что толку-то, все равно нельзя с ней как с ровней говорить, – подумала девушка. – Не поймет. Прислуга, что с нее возьмешь...

Перестав думать о Вере и разговаривать с ней, она тут же перестала и видеть ее, как если бы Вера в ту минуту вышла из комнаты. Умение искренне не замечать присутствующих в комнате слуг ее окружение считало неотъемлемой чертой человека из общества. Софи обладала этим умением в полной мере.

Свернувшись на кровати по своему обыкновению, Софи предалась отрадным для ее измученной души рассуждениям. Теперь ей все было ясно, как Божий день. Разумеется, у Сержа существуют какие-то проблемы, которые требуют его присутствия где-то в другом месте... Может быть, он вообще революционер и сочувствует одной из тех организаций, которые предыдущего императора убили. Оля Камышева рассказывала, что их до сих пор из Департамента полиции ищут... Это, конечно, страшная глупость и вообще государственная измена, но мало ли в какие непонятные и малоинтересные дела впутываются мужчины! В любом случае очевидно, что он совершенно не склонен впутывать в них Софи, которую, хотя и любит, но считает очаровательным ребенком, не способным на искренние и глубокие чувства. Софи, разумеется, полюбила Сержа, кто бы он ни был, по-настоящему и навсегда. Теперь ее задача – доказать ему это и по возможности помочь разрешить наличные у него трудности. Убедившись в искренности чувств Софи, здравости ее ума и силе ее характера, Серж, конечно, не найдет более препятствий для их совместного будущего. Попутно разрешатся и все проблемы самой Софи. Правда, для исполнения этого великолепного плана Софи все время должна находиться рядом с Сержем. А он на днях отбывает в неизвестном направлении. Даже если удастся еще раз встретиться с ним и спросить напрямик, Серж, разумеется, ничего не ответит. Как же поступить?

Софи плотнее уперлась подбородком в подушку. Спустя полчаса у нее уже был готов подробный и безукоризненный, как ей казалось, план, который приведет ее напрямик к желанной цели. Она хотела позвать Веру, но с некоторым удивлением обнаружила, что горничная никуда не делась и по-прежнему сидит в комнате на стуле, читая взятое с полки изящное карманное Евангелие Софи – подарок матушки на прошлое Рождество.

– Здесь, что ли? – Софи обернулась к Грише, облизнула губы, дернула за ленту шляпки. Узел развязался, шляпка вместе с вуалью сползла набок. Софи сорвала ее с головы, бросила на сидение.

– Так мне стоять, или как, господа хорошие? – спросил пожилой извозчик, с добродушной усмешкой оглядываясь на юных седоков. – Или дальше поедем?

– Стой! – крикнула Софи. – Я, кажется, узнала. Ты, Гриша, жди меня здесь. Я скоро.

– Да что тебе надо-то, Соня? Скажи мне, – попросил мальчик.

– Задачку решить, – Софи усмехнулась и, подобрав подол, спрыгнула на тротуар.

... – Вот такие мои дела, любезный Поликарп Николаич, – закончила Софи. – И только вы можете мне помочь... Иначе я погибну окончательно, – добавила она, вспомнив, что именно так выражалась одна из героинь когда-то читанного романа.

– Бедняга, вот бедняга! – сокрушенно покачал головой старенький математик, и в сердцах выдернул волосок из уха. – И как же это его угораздило так вляпаться!

– Я, я – бедняга, – направила старичка Софи. – Я – Соня, особа женского пола... Меня все обманули...

– Да не об вас, голубушка, речь! – вздохнул Поликарп Николаевич. – Я об том графе... или кто он там... об том грузине толкую... Вот кого жаль! А вы – что ж – существо эфирно-магическое по праву возраста и половых эманаций, вокруг вас энергии закономерным порядком так и взвихриваются, так и взвихриваются...

– Поликарп Николаич, голубчик, помогите мне, прошу! Я так несчастна! – Софи умоляюще сложила руки у груди и полуприкрыла сияющие от возбуждения глаза, зная, что в такой позе, подчеркнутой траурным нарядом, выглядит особенно трогательно. Подумала, не опуститься ль на колени, но потом решила, что это будет излишне. Все-таки старичок умен.

– А чем же я могу-то, Софья Павловна? Жениться, что ли, на вас, вместо этого грузина?

Софи вздрогнула, распахнула глаза и с облегчением обнаружила, что математик мелко подхихикивает в бородку.

– Поликарп Николаич, голубчик, я бежать решила. Пока не успокоится все, да и о своей жизни подумать надобно. Мне денег нужно. У меня есть, мне папенька тысячу рублей оставил, но взять не могу, потому что возраст... Вы дайте мне в долг, голубчик, а я вам после все возверну. Вы ведь верите мне? А нет, так там внизу Гриша, он свидетелем будет, а я расписку напишу. Вы продиктуете, как надо...

– Софья Павловна, куда ж вам бежать-то? Зачем?

– Надо мне, поверьте, что надо. Всего объяснять не стану... – Софи трясло, она едва сдерживала себя, сжимая одной кистью другую.

Математик, кряхтя, поднялся из кресла, снял подушку с чайника, налил в стакан горячей воды, добавил заварки и еще чего-то из небольшой бутылочки со следами сургуча на горлышке.

– Выпейте-ка вот это, Софи, а то у вас прямо тут нервический припадок начнется. Что делать тогда? Доктора звать? Барышня в квартире, в припадке... Какой конфуз для бедного старика... Выпейте непременно, я говорю...

Софи послушно выпила и через несколько минут с удивлением почувствовала, как дрожь действительно отступает, словно в норку прячется. Поликарп Николаевич, между тем, продолжал говорить, рассуждая, как бы о решении задачи...

– Деньги, стало быть, нужны... Кому ж они из молодых не нужны? Да и старым тоже... Здесь покуда понятно все. Вернете, стало быть? Верю, отчего же не верить. Вы – девушка честная, из порядочной семьи, что б там ваш папенька под занавес не отмочил. Это так. Но вернуть-то сможете тогда лишь, когда в наследство вступите. Стало быть, лет через пять, как я понимаю. Не думали о том? Или думали, но полагали Поликарпа Николаича вечным... Понятное для молодости заблуждение. В том-то и загвоздка, любезная Софи, что не прожить мне на этом свете до вашего совершеннолетия, а, стало быть, и долга с вас не получить...

– Да что вы, миленький Поликарп Николаич, говорите! – искренне воскликнула Софи, опускаясь на пол у ног старичка и кладя ладошки на его колени, укрытые клетчатым пледом. – Вы уж столько прожили, привыкли, чай, зачем же вам теперь помирать? Поживите, голубчик, еще! Мне так надо...

Поликарп Николаевич рассмеялся, потянулся за платком утереть выступившие слезы, попутно погладил и слегка сжал руки Софи своей высохшей ладонью.

– Софи, детка, как же вы чудесны в своем молодом животном эгоизме! Я не устаю вами восхищаться! Ну вот создала же природа этакое чудо... Как это там господин Дарвин писал...

– Так вы дадите мне денег, голубчик Поликарп Николаич? Гришу позвать?

– Гриши не надо. Потому как я больше чем уверен, что и он знает лишь часть вашего плана, а остальное вы держите в секрете. Пусть так и будет. Денег дам. Но при двух условиях...

– Что хотите!

– Вы ответите на один мой вопрос и дадите одно обещание.

– Спрашивайте же скорее!

– Бежать вы собрались не в одиночку? Есть ли верный человек, который обещал заботиться об вас и защищать от невзгод?

Софи задумалась лишь на мгновение, потом кокетливо улыбнулась старичку:

– Какой вы! Все-то вы знаете, все видите, все понимаете... ну куда же порядочная барышня одна побежит...

Поликарп Николаевич вздохнул со смесью облегчения и грусти.

– А под венец?

– Это уже второй вопрос! – Софи погрозила пальчиком, умильно, снизу вверх глядя в выцветшие стариковские глаза. – Теперь обещание.

– Коли, вернувшись из странствий, не застанете меня в живых, долг отдадите моей племяннице, Дунюшке. Евдокии Матвеевне Водовозовой. Все мое имущество ей отпишу. Бесприданница она, пятнадцатый год сейчас. А девушка всяческих достоинств преисполнена. Запомните или записать?

– Запомню, конечно, – деловито кивнула Софи. – Водовозова Евдокия, ваша племянница. Не беспокойтесь, Поликарп Николаевич, у меня память на все хорошая, и на гадости, и на благодеяния... Все меня кинули, а вы выручить готовы, даже и не зная, дождетесь ли отдачи. Спасибо вам, – Софи на мгновение прижалась губами к шафрановым высохшим пальцам. Поликарп Николаевич вздрогнул, отдернул руку. – А Дуне передайте, – серьезно добавила Софи. – Когда б ни случилось, пусть на Софи Домогатскую рассчитывает. В память об вас все для нее сделаю, что смогу...

– Спасибо и тебе, деточка, – также серьезно кивнул Поликарп Николаевич. – Обязательно передам, потому что Дуня моя девочка робкая, жизни боится... А такое слово от тебя дорогого стоит, только ты покудова об этом не знаешь... Ну, вставай, и мне помоги подняться, пойдем в кабинет... Да только не думай, что я тебя хоть вот на столечко одобряю... Из дома родного бежать с каким-то остолопом, который, ясное дело, поматросит и бросит... А если и женится, так что ж? Но ведь и выхода-то нет... Такое великолепное, полное жизни и страстей создание, соединить с угасшим сморчком... Что ж выйдет? Тоска, смерть для обоих... Пусть уж лучше костер вспыхнет, опалит все кругом, одной легендой на свете больше станет... А там уж как случится... Не все ж гибнут-то. Живут, бывает, после неплохо, есть что вспомнить, по крайней мере...

Так бормотал добрый старичок, но Софи, бережно поддерживающая его под локоть, ничего не слышала. Да что там слышать... Она и вовсе уж покинула душой старую квартиру на Лиговке и была далеко-далеко...

Глава 9

В которой Иван Парфенович Гордеев занимается делами и размышляет о сложностях жизни. Читатель же знакомится с Марфой Парфеновной, инженером Печиной и остяком Алешей

– Скажи, Алеша. Вижу, что хочешь сказать, чего ж молчишь?

– Разве мы могём без дозволения-то? Мало-мало умных мыслей в таёжная голова... – остяк Алеша склонился в преувеличенно-подобострастном поклоне, острые глазки почти затеялись среди широких, кирпичного оттенка скул.

– Брось, Алеша, не юродствуй. Как будто я твоих дел не знаю. Скоро богаче меня станешь...

– Хи-хи-хи! Ну вы, однако, сказали, Иван Парфенович...

– Говори ты! – промышленник нетерпеливо поморщился.

– Я так думаю, – Алеша счел приличия, проистекающие из разницы статуса, исполненными, и сразу стал говорить серьезно и почти правильно. – Рыболовные пески по правому берегу Ишима, выше Ялуторовска, я для вас мало-мало купил. С прошлым годом получается почти в три раза больше. Надо бы и прибыль так счесть, один к четырем хотя бы, чтобы ничтожный Алеша мог свою выгоду иметь. Так? Однако, там в деревнях не русские живут, там ханты с эвенками живут. Если им сейчас задаток раздать и неводы купить, мало-мало прибыли будет.

– Отчего же?

– Русские вино-водка пьют, потом морда друг другу бьют, мало-мало спать ложатся, и опять на работу идут. Ханты и самоеды не так. Их водка, однако, насовсем валит, последнее соображение теряют, могут, однако, и неводы пропить, рыбу ловить нечем, скажут зимой: «Убивай нас, казни, Алеша, – ничего нет!» Что тогда делать?

– Как же поступить, по-твоему?

– Надо задаток надвое поделить. А неводы только перед самой зимой раздать. Сейчас половину пропьют, будут вторую ждать. Как первый обоз с рыбой по зимнему тракту в Тобольск мало-мало пойдет, так можно, однако, и деньги платить.

– Хорошо, Алеша, сделай, как ты сказал. Но в русских селах раздай все как прежде, иначе они заподозрят, что я их обмануть хочу, и заporют мне все поставки. И вот еще: надо обозы больше в Екатеринбург гнать. Я на тот год подсчитал: даже с дорожными издержками там прибыль почти на треть больше. Мы раньше как делали: один к трем, так? Пусть теперь наоборот будет: один – в Тобольск, три – в Екатеринбург. Запомнишь?

– Запомню, однако, хозяин... Все покуда? Отпускаешь Алешу?

– Иди и не греша, – Иван Парфенович усмехнулся, и его усмешка эхом отразилась на широком лице Алеша. – А то ведь я тебя, аспида узкоглазого, знаю. Пока не разденешь догола сельский народец, не успокоишься. И не лыбься так-то, не лыбься. Ровно я догадаться не могу, откуда и под какие проценты водка с вином мало-мало к хантам с самоедами идет...

– Провидец, радетель наш, – не сводя улыбки, поклонился, пятясь, Алеша. На пороге лицо его внезапно стало серьезным. – Себя, однако, береги.

– Стой! С чего сказал?

– Не сердчай. У меня мать травознайкой была, я при ней, через то с детства болезни мало-мало разбираю. Личина у тебя, Иван Парфенович... дурной кровью краснеет. И жилы на руках. Как бы удара не случилось. Знаю, черная вера не по тебе, однако, посоветовался бы мало-мало с шаманом. К сильному шаману сведу, коли захочешь. Ваши-то дохтура такое лечить не умеют,

а наши... Слышал про остяка, или хоть про ханта, чтоб у него удар был? То-то и оно... И водки вашей не пей...

– Ну еще поучи меня, поучи... Вон пошел!

– Ушел уже, однако, ушел...

Почти вслед за уходом Алеши в дверь хозяйского кабинета просунулась курносая физиономия Аниски.

– Иван Парфенович! К вам Матвей Александрович Печиного, инженер с Мариинского прииска просится. По срочному, говорит, делу.

– На прииске чего?! – Иван Парфенович резко развернулся вместе со стулом. Гнутые ножки противно скрипнули. – А! Откуда тебе, дуре, знать! Зови!

– А вот и знаю! – не сдержалась Аниска. – Я уж выспросила, пока вы с Алешей-то говорили. Сказал: на прииске все хорошо, прибыл по личному делу.

– Зови, я сказал! – Иван Парфенович слегка повысил голос. Аниска мигом испарилась.

Матвей Александрович Печиного прибыл в гражданском платье, что, видимо, должно было подчеркнуть приватность визита. Впрочем, Иван Парфенович об этом не думал и в такие мелочи не вдавался. Хотя про себя и отметил, и похвалил смелое сочетание горчичного сюртука и полосатых брюк с голубым галстуком. «И чего про нас, сибиряков, говорят, что у нас вкуса к одежде нет? – мелькнула мимоходная мысль. – Вон как красиво инженер оделся...»

Услышав от Аниски, что на прииске все идет нормально, Иван Парфенович уже знал причину сегодняшнего визита Печиного и отвлеченными мыслями отгонял гнездившуюся в душе неловкость.

– Эх, кабы чуть-чуть иначе все повернуть... – подумалось ему. – И мороки никакой не было бы...

На мгновение захотелось рассказать инженеру всю правду, все, как есть, ничего не утаивая. Печиного умен, образован, все правильно поймет, к тому же – молчалив, как пень, в обществе почти не бывает, и болтать о сказанном не станет. Да и не с кем ему болтать-то. Подумал так Иван Парфенович, и тут же от своей мысли и отказался. Понять-то Печиного поймет, но только уязвится еще больше. Не надо этого.

Отец Матвея Александровича – Александр Печиного, служил гусаром в Лейб-гвардии гусарском Его Величества полку, и даже среди сослуживцев выделялся богатырским ростом, отменным здоровьем и аппетитом и столь же богатырской глупостью, служившей неисчерпаемой мишенью для грубоватых гусарских шуток и розыгрышей. Пикантную, перечную остроту шуткам придавал тот курьезный природный факт, что Александр Печиного статями и даже чертами лица удивительно напоминал ныне покойного, а тогда вполне здравствующего императора Николая Первого. Поскольку достойнейший Александр любил быть в центре внимания, а прогнозы касательно своего поведения, напротив, строить совершенно не умел, то розыгрыши эти с течением времени приобретали все более рискованный характер. Так, любимым развлечением в полку было представлять личную беседу Николая с А. С. Пушкиным, которого изображал пейсатый солдатский сапожник Мойша, и впрямь чем-то схожий с великим поэтом, к тому же неплохо читающий наизусть его стихи, и ловко клеймящий самодержавие в духе Радищева и Добролюбова. В конце концов, то, что должно было произойти, произошло. В полку нашелся доносчик, который проявил верноподданнейшую бдительность и передал наверх по ранжиру весть о крамольных развлечениях гусаров.

Мойшу забрали в крепость, где он и затерялся, а Печиного разжаловали и сослали в Тобольск.

Считается, что настоящие гусары спиться не могут в принципе, но пример Печиного с полным основанием может оспорить это утверждение. Он был настоящим гусаром, но, будучи сосланным, спился необыкновенно быстро и пал трагически низко. К концу своей жизни он

окончательно сошел от водки с ума, ловил на улицах Тобольска зеленых прыщавых человечков и ел помои вместе со свиньями, беседуя с хавроньями по всем правилам гусарского политеса.

Между делом бравый гусар успел жениться на самоедке полукровке и прижить с ней троих детей, которым дал свое имя, а больше не сумел дать ничего, ибо находился постоянно в сумеречном состоянии духа. Впрочем, диковинной фамилией своей Александр (в противоположность сыну) парадоксально гордился. «А поглядеть пристрасно, – говаривал он еще в гусарско-петербургские времена. – Сколько этих, так называемых благородных фамилий – Михайловы, Пескарские, Романовы, в конце концов. И что же они значат, чем будят пылливый ум? Только то, милостивые государи, что был где-то во тьме веков какой-то Роман, или Михаил, или того хуже рыба пучеглазая – пескарь. А вот мое родовое имя – Печиного! Попробуй-ка догадайся, что это значит, и каким макарком повернуто...»

Младшие дети получились не особенно удачными. Заключалось ли дело в водке или в несправном смешении кровей, никто не знал, – но оба, и мальчик, и девочка, так и не вошли в ум, и до седых волос все пускали слюнявые пузыри, да сосали леденцы, а говорить – едва умели. Старший сын, Матвей, родился еще до окончательного распада отцовской личности, и живостью ума, напротив, превосходил сверстников. Впрочем, его всегда замкнутое, ничего не выражающее лицо, и молчаливый, какой-то зверушечий нрав заставляли обывателей полагать, что и с этим отпрыском Печиного не все ладно. Однако Матвей, чураясь детских затей, с блеском закончил четырехклассное училище и попечением отставного генерала Смирнова (либерала, сочувствующего печальной судьбе Печиного) отправлен был в полную Тобольскую гимназию. Там он выказал такое непомерное рвение к учебе, что, несмотря на отсутствие симпатии к нему лично, советом гимназии был единодушно рекомендован к обучению за казенный счет в Высшем техническом училище Казани.

Окончив училище, Печиного вернулся в родной город. Мать с отцом к тому времени уже умерли, а брат с сестрой нищенствовали при Троицкой церкви Христа ради. Матвей, неплохо разбиравшийся в законах и уложениях, быстро пристроил их в Екатеринбургскую казенную богадельню. С тех пор трижды в год (на Рождество, Пасху и День Поминовения усопших) он педантично навещал родных, привозя им каждому по платью, а также мешку леденцов, пряников, соленых кедровых орешков и прочих лакомств.

Сам же он в тот же год поступил на прииски инженером, а после работал и управляющим, в чем выказал себя, как специалист, с самой лучшей стороны. Рабочие его, однако, не любили, потому что пьянства и лодырничанья он не прощал никому, и штрафы налагал нещадно. Ссылки на жизненные обстоятельства, болезни, смерть детей и т. д., которыми его пытались разжалобить, не производили никакого видимого действия ни на каменно застывшее лицо инженера, ни на его поступки.

Бабы из приисковых поселков шептались между собой, что души у Печиного и вовсе нету, потому что еще в детстве всех родившихся в этой несчастной семье младенцев подменила на своих детенышей какая-то неопределенная нечисть. Двух младшеньких Господь оборонил, сделал блаженными, ну, а старший вырос здоровым да умным, но через то лишился бессмертной души.

Иван Парфенович бабьим сплетням не верил, и тому уж десять лет как переманил к себе способного инженера, положив ему жалованье в полтора раза больше того, что он получал на старом месте. Печиного доверие и деньги оправдал сполна, наладил работу на прииске так, что любо-дорого. И вот диво – ни одного гривенника у хозяина не украл, в свой карман не положил (у Гордеева везде свои люди были, докладывали, удивления не скрывая). Разве ж может человек на золоте – и не красть?! Другие и крали, а Иван Парфенович, в свою очередь, следил, чтоб не зарывались. Но вот Матвей Александрович чист был, аки младенец. Любой с прииска скажет – не к добру это.

Жил Печиного на прииске почти безвылазно, с женщинами (да и вообще ни с кем) на коротке не знался. Готовил себе сам, слуг не держал. Когда приходила баба убираться в избе, шел к озеру гулять. На ярмарки ездил, чтоб купить одежду и сластей брату и сестре. Держал собаку и диковинно пушистого кота с кисточками на ушах. С ними и разговаривал. При всем том одевался богато, даже щегольски, по утрам чистил зубы специальной щеточкой и золой, а потом полоскал рот и протирал каждый зуб тряпочкой. Раз в три дня ходил в баню, и каждый день мылся из кадушки холодной водой. По вечерам читал книги по горному делу, да журналы, которые выписывал из самого Петербурга. Бабы и девки, проходя мимо его дома и видя свечу в окне, крестились и сплевывали, как от нечистого. Печиного об этом знал, но лишь усмехался в аккуратно подстриженную бороду. Если спрашивали напрямик, пожимал плечами: «Дикий народ, что с них взять...»

Теперь Иван Парфенович окинул взглядом статную (в отца) фигуру инженера, его неподвижное лицо, похожее не на человеческий даже лик, а на личину древней каменной бабы, что по сей день встречаются в горах Алтая. Из кармана его сюртука, как всегда, выглядывала желтая тетрадь в богатом кожаном переплете. Никто и никогда не видел Печиного без тетради. Переплеты иногда менялись в цвете (видно тетради чем-то заполнялись и исписывались); бывало, что инженер на людях доставал тетрадь, пролистывал и о чем-то справлялся с ней. Однако, что именно написано в тетради – никому не было известно.

– Ну, говори прямо, Матвей Александрович, с чем пришел?

– Извольте, Иван Парфенович. Буду говорить без всяческих экивоков. Итак. До недавней минуты я полагал, что вы моею службою довольны, и цените меня как хорошего специалиста и знатока горного дела. Делами на прииске, которым имею честь под вашим началом руководить, казалось, что тоже удовлетворены.

– Все так и есть, так и остается. В чем вопрос-то? Жалованье тебе малó? Изволь, прибавлю чуток... Только, извини, конечно, за любопытство: на что тебе деньги? Живешь ты в лесу как монах, за юбками не волочишься, водки не пьешь. Может, надумал меня бросить и перебраться куда поближе к столицам?

– Нет, Иван Парфенович. Вы не хуже меня знаете, что человек я дикий, ни в коей мере не столичный. Здесь мое место и здесь моя работа.

– Так в чем же дело? Жалованье, я сказал, прибавлю.

– Жалованьем своим я вполне доволен. Имел возможность сравнить и знаю, что по моей должности оно преизрядно. Дело в другом. Управляющего Луку Степановича Уткина вы за воровство и непотребные дебоши уволили...

– Погоди. Ты разве не согласен со мной?

– Согласен полностью. Разве что раньше это надо было сделать. Лука Степанович и народ распустил, и дело знал неотменно. Но вот прослышал я, что вы себе нового управляющего из Петербурга выписали. Хорош, сказывают, собой, учтив, дворянин, и отчего-то в кутузке сидит...

– Ишь ты! – усмехнулся Гордеев. – Все уже доложили. Вон как таежный телеграф работает... Ну что ж, так и есть...

– И вот я и хочу спросить у вас, Иван Парфенович, отчего вы решили, будто пришлый человек, пусть даже и курс кончивший, лучше в здешних делах и здешней работе разберется, чем местный...

– Ну вот как ты, к примеру?

– Да, вот, к примеру, как я, – ни в голосе, ни на застывшем лице Матвея Александровича не отпечаталось даже следа чувства, но Иван Парфенович знал инженера уже десять лет, и понимал, как тот отчаянно, жестоко, и главное, совершенно незаслуженно обижен.

Ведь он прав во всем! И честолюбие его не грех, а достоинство, и действительно нету лучше его знатока по золотодобыче во всей приишимской тайге! И уж явно сто очков вперед его опыт, ум и знания могут дать приезжему смазливому дворянчику, о котором нынче только ленивый комар в тайге не жужжит...

– Поверь, Матвей Александрович, никакой тебе тут обиды нет, – как мог веско произнес Иван Парфенович. – Никто твоих прав ущемлять не станет, и жалованье я тебе нынче же прибавлю. Ценил я тебя как работника, ценю, и ценить буду. А приезжий... что ж... поглядим, как он себя покажет. Тогда и решать будем. Лишним все одно не станет. Тебе ли не знать – будто у нас в тайге грамотные инженеры, как зайцы, под каждым кустом сидят...

– Ах вот как, – подумав, сказал Печинога, чуть-чуть как бы отморозился и склонил голову, соглашаясь. – Тогда пусть так. Смотрите, Иван Парфенович, кто чего стоит. Я-то красно говорить не умею, да и вас на кривой козе не объедешь. Разберетесь, что к чему, ну и уж не считите за труд, мне знать дайте об вашем решении. Чтоб мне новости сорока на хвосте не носила...

– Сообщу, – кивнул Гордеев. – Как решу окончательно, сообщу... Но ты уж, Матвей, при всяком... – в голосе Ивана Парфеновича послышались едва ли не просительные нотки, а в гранитных глазах инженера слюдяной каплей просквозило удивление. – При всяком прииски не бросай. На тебе ведь все держится... Я тебя прошу. Ты после поймешь...

– Куда же мне с приисков идти? – пожал плечами Печинога. – И жалованье у меня хорошее, да с прибавкой... Прощайте покуда, Иван Парфенович. Поеду назад.

– погоди. Задержись в Егорьевске. В пятницу я вечер в собрании даю, там и представлю всем Дмитрия Михайловича Опалинского.

– А мне зачем же?

– А затем. Что ты как бирюк в тайге сидишь, с кошкой да псом беседы ведешь! Вон ты какой у нас статный да красивый! Посидишь с обществом, угощений попробуешь, поговоришь с мужчинами хоть о политике, хоть о горном деле, на дам да девиц посмотришь, глядишь, которая да и глянется...

– Сладко поете, Иван Парфенович, да мне как-то и ни к чему...

– Никаких отговорок не принимаю! Ты у меня покамест служишь, считай, я тебе по службе велел к нашему новому управляющему приглядеться, о деле его расспросить. А после мне доложишь...

– Докладчик из меня... У вас небось другие имеются. А я по горному делу.

– Ну экий ты, парень, пень! – с досадой воскликнул Гордеев. – Придешь без никаких и все! Есть у тебя, где остановиться-то? А то можешь у меня, в гостевых покоях...

– Есть, спасибо... Пойду...

– Иди и помни, что я сказал.

– Уж не забуду, – отчего-то последние слова Печиноги прозвучали угрозой. Вряд ли он сам того хотел, но вот – так вышло.

Едва затихли шаги инженера, как в дверь снова поскреблись. Не дождавшись ответа, в дверь протиснулась Марфа Парфеновна, старшая сестра хозяина. Двигалась она слегка боком и сжимала в руках большую глиняную кружку, накрытую тряпицей и даже сквозь нее исходящую паром.

Иван Парфенович поднял голову от бумаг, потер ладонью грудь, внимательно оглядел сестру. Черное, до полу платье без всяких украшений, желтый, восковой лоб, впалые виски, посреди щек две морщины, словно давно зажившие рубцы от острой сабли. Выглядывающие из-под подола синие босые ноги с выступающими вбок косточками – Марфа так весь век и ходила по дому босиком или в чулках, по-деревенски, и лишь в самые лютые морозы надевала оленьи пимы. Да ведь Марфа раньше хороша собой была! – удивленно вспомнил Гордеев. Строга ликом, коса русая в руку толщиной ниже пояса. Парни деревенские обмирали, норо-

вили в уголку прижать, приласкать; охлаживала не дланью даже (хотя и на руку по младости тяжела была), а взглядом надменным из-под соболиных бровей: «Бога побойтесь, греховодники!» – и взгляд не крестьянки, королевны. Куда же все ушло-то? И быстро как!

– Здорова ли, Марфа? – приветствовал он сестру, пряча раздражение и усталость.

Взошла снова без спросу, да как ей станешь пенять, коли весь дом на ней! И ведь не в радость ей, в маету. Давно бы пора Машеньке хозяйство принять да отпустить Марфу в монастырь, но разве дочери под силу...

Обложили, со всех сторон обложили! – неизвестно о ком подумал Иван Парфенович, вспоминая об загонной охоте на волков, которую по распоряжению местного казачьего начальства охотники-манси устраивали для потехи приезжих ревизоров.

– Вчерась спину на ночь ломило, а сегодня смазала барсучьим салом – так ничего, отпустило вроде, – ответила между тем Марфа и поставила перед братом горячую кружку. – Вот, выпей-ка!

– Чего это? – подозрительно спросил Иван Парфенович, брезгливо заглядывая в кружку, в которой исходила паром бледно коричневая бурда, с плавающими поверх бело-желтыми ошметками.

– Козье молоко с настоем зимнего боярышника на водке, ложка льняного масла, – охотно объяснила Марфа. – Разгоняет черную желчь, сердечную боль облегчает.

– Небось опять странницы какие-нибудь нашептали, или, того хуже, эта дура Леокардия...

– Не гневи Бога, Иван! Станницы – святые люди, именем господним, молитвой искренней души врачуют, но врачевание тела – не их стезя. Средство это от хантов, а у них – от манчжуров и китайцев. Издавна так лечатся.

– Ну, ежели от китайцев, тогда давай, – подумав, согласился Иван Парфенович. – Слышал я, что лекари у них мудрецы – не чета нашим коновалам...

– А чегой-то лешак этот от тебя вылетел, как ошпаренный? Чего ему надоти?

– Лешак этот – едва ли не самый грамотный и честный инженер в Сибири, – назидательно сказал Иван Парфенович. – А что о нем болтают, так это от того, что понятия нет. И ты мне тут бабью дурь в дому не разводи. Я его привечаю, и привечать буду. Сегодня вот жалованье ему повысил...

– А ты ему хоть раз в зенки-то глядел? Там же – камень все бесовский. Сглазит тебя...

– Сказал, Марфа, охолони! Не он меня, я его нынче обидел. Обидой лютою, незаслуженною...

– Это как же? Деньгами, что ли?

– Да нет. Деньгами он как раз не обижен и про то знает. А только место управляющего – его по праву. Лучше его никто за это не возьмется, и работу не наладит.

– Так и ставил бы его, коли так уверен. Зачем же всю эту мороку с Питербурхом затеял?

– Ох, Марфа! Коли б я мог! Но ты сама погляди – он же не только слова ласкового, улыбаться, и то не обучен. Пень лесной, и рожа – как у бабы каменной. Да и брат с сестрой у него идиоты, и отец был – пьяница. Сам-то умница. Но каков род? Как же я могу нашей Машеньке такое подсуропить?!

– Иван! Ты о чем болтаешь-то? При чем тут лешаковы брат с сестрой и Машенька? Какая связь?

– Ладно, Марфа, пустое, пустое... Ты поди, мне еще бумаги посмотреть надо, и подрядчики скоро придут... Спасибо тебе за снадобье манчжурское. Надобно оно мне, не то за грудиной так давит, давит...

– Отдохнул бы ты, Ваня, – почти ласково сказала Марфа. – Всех дел не переделаешь, всех денег под себя не возьмешь. Пете на жизнь хватит. Хлеб насущный у нас есть, кров тоже.

Много ли нам с Машенькой надо-то? отошел бы хоть на время, о Боге подумал, к святым мощам в монастырь сходил. Глядишь, и полегчало бы...

– Да ведь в делах-то, Марфа, и есть вся моя жизнь, – серьезно отвечал Иван Парфенович. – Я ведь пока кручусь, тогда и жив. А если не делать ничего, так хоть ложись и сразу помирай. В чем и обида моя – столько задумок всяких, столько возможностей открывается, успевай только поворачиваться, а я вот...

– Бесовщина все это, Иван! Бесы тебя крутят, вот что я скажу. Заказал бы молебен...

– Поди, Марфа, устал я от тебя! Поди! Да припасов прикажи изготовить, чтоб к пятничному собранию все общество на славу угостить. Водки чтоб довольно...

– Иван! Пост ведь в пятницу!

– Поди, сказал!

Глава 10

В которой на сцену выходит старый карбонарий мсье Рассен. Горничная Вера читает Марка Аврелия. Софи покидает Петербург и в письме Элен Скавронской описывает свою вполне эзотерическую привязанность к родному городу. Здесь же мсье Рассен уходит со сцены, оставив, тем не менее, глубокий след в душе нашей героини

– Мсье Рассен! Проходите, что ж вы на пороге? Я вам рада, право, – Софи приветливо улыбнулась французу. – Небось, на Сережу жаловаться пришли? Угадала?

– Нет, Софья Павловна, не угадали. Я попрощаться зашел.

– Ах! – Софи вскочила с дивана, отбросила книжку, босиком пробежала к окну, прислонилась лбом к теплой латунной ручке. Смотреть в добрые печальные глаза француза было невмозможно. – Маман вас рассчитала? Я так и думала! Мне жаль, честное слово! Я люблю вас, и Гриша... Его ведь дома нет. Он так расстроится... И папа вас любил. Но все равно... У нас ведь теперь, вы знаете, денег нет... Как же вы...

– Да ладно обо мне, Софья Павловна, – мсье Рассен беззаботно улыбнулся. – Я, как говорят в России, тертый калач. Не пропаду. Вы-то как? Я слышал от прислуги об этом нелепом сватовстве. Бедняга Иракий Георгиевич! Кто бы мог подумать, что он решится...

«Ну почему все его жалеют? – раздраженно подумала Софи. – Наверное, потому, что они сами старые. Но все равно – я здесь бедняга, а вовсе не он!»

– Вам, небось, сейчас кажется, что все от вас отступились...

– Ничего мне не кажется! – вздернула подбородок Софи.

– Подождите, Софи, не ершитесь так. Вспомните, я ж вас с детства знаю. Чего ж передо мной-то? Вы – чудесный человечек выросли, от вас искры летят, как от костра ночью, таких в нынешний век мало. Я вас люблю, и боюсь теперь, как бы вы впопыхах каких-нибудь глупостей не наделали.

– А вам – что ж до того? – Софи продолжала сводить брови и хмурить лоб, но на самом деле ей уже хотелось поговорить с французом. Он много ездил по миру, может, посоветует что дельное...

Мсье Рассен подошел поближе, осторожно тронул длинными мягкими пальцами подбородок Софи, развернул ее голову к себе, его теплые коричневые глаза, похожие на глаза большой охотничьей собаки, заглянули в глаза девушки.

– Софи, Софи! Признайтесь старому карбонарию, вы уж задумали что-то несусветное. Так?

Софи молча кивнула головой.

– Садитесь на диван, – строго сказал француз. – И рассказывайте.

Только усевшись и поджав под себя ноги, Софи ощутила, как замерзли ступни. Несмотря на конец июля, за окном шел холодный дождь. Он жестко барабанил по жестяному подоконнику и гремел в водосточных трубах. На обоях мерещились влажные пятна. Хотелось зажечь свечи или велеть растопить печь.

– Говорите же, – нетерпеливо повторил мсье Рассен. – Куда вы собрались? С кем? В каком качестве?

.....
– Вы с ума сошли! – выговаривал француз какое-то время спустя. Софи сидела, опустив голову. – Вы – несовершеннолетняя, у вас нет паспорта, нет никаких документов. Вы совершенно не знаете, куда понесет нелегкая этого юношу. Вы вообще о нем ничего не знаете!

– Он – самый лучший! – упрямо мотнула головой Софи, плотнее кутаясь в шаль, которую накинул ей на плечи галантный француз.

– Ну, это – само собой. Это не обсуждается. Но... Его происхождение, семья? Образование? Служба? Источники доходов? Семейное положение, в конце концов! Вы можете поклясться мне, что он в настоящее время не женат?

Софи вздрогнула, но ничего не сказала. Мсье Рассен картинно схватился руками за голову и некоторое время сидел так, размышляя.

– Я еду с вами! – наконец решительно сказал он. – Отговорить вас нельзя, а я сейчас как раз свободен...

– Поедете со мной?! – удивлению Софи не было предела. – Но почему?!

– Я хочу знать, что с вами ничего не случилось. Если все окажется так, как предполагаю я, то я привезу вас назад и сдам на руки матери. Если же все так, как предполагаете вы, то я пожелаю счастья молодым и выпью шампанского на вашей свадьбе. В любом случае моя совесть останется спокойной, а вы ни в чем не проиграете... Таким образом, я выполню завет вашего отца, которому я, как ни крути, многим обязан...

– Папа? Какой завет? О чем вы, мсье Рассен? – встрепелась Софи.

– Вы имеете право знать. Незадолго... незадолго до смерти он просил меня побережь вас. «Эжен, я прошу тебя как друга – береги Софи, – так он сказал. – Она только кажется сильной, а на самом деле она – самая уязвимая из всего семейства. Все они умеют подстраиваться и верить в то, что говорят вслух. А вот Софи совершенно не умеет лгать себе...» Я тогда не понял, к чему он это говорил. Ведь он был моложе меня и куда крепче здоровьем. Я, помнится, решил, что это лирика на фоне обильного возлияния спиритуса... Кто же мог подумать...

«Бедный папа, – мысленно вздохнула Софи. – Если бы он знал, как я умею лгать... Он бы непременно во мне разочаровался. Ну, да теперь уж никогда не узнает... А с французом это, пожалуй что, здорово устроилось...»

Слова «себе» в словах отца, переданных мсье Рассеном, Софи попросту не услышала.

– Вещей немного бери, самое необходимое, чтобы подозрений не вызывать, – втолковывала Софи Вере.

– Дак собрала уж необходимое. Взглянули бы, – Вера указала пальцем на коричневый кофр, стоящий под столом в углу комнаты и накрытый скатеркой.

– Да ладно! – Софи поморщилась и возбужденно потерла ладони одна об другую. Маман всегда находила этот ее жест вульгарным. – Чего уж тут вещи! Что это у тебя? А, «Размышления», книжка Анатоля! Нехорошо, надо бы вернуть. Или почитать хочешь? – усмехнулась Софи.

– А я уж читала, – спокойно отозвалась Вера. – Здесь, конечно, бумага лучше и пояснений больше.

– Да что ты врешь-то! – вскинулась Софи.

– Чего же врать? – Вера бесшумно поднялась, склонилась над узелком, примостившимся рядом с кофром. Спустя время вытащила оттуда стопку сине-зеленых книжечек, протянула Софи.

– Вот здесь где-то...

Софи растерянно перебирала книжечки.

«Издания для народного чтения, стоимостью 1 1/2 коп.».

«Где любовь, там и Бог» Л. Н. Толстой; «Мирское дитё» П. Засодимский; «Что такое жена» Н. А. Полушкина... а, вот – «Размышления» Римского императора Марка Аврелия...

– Ну ты, Вера, да! – воскликнула Софи. – И как же тебе эти... размышления?

– Интересно, – сказала Вера. – Я не со всем согласная, но – интересно.

– Да-а... – протянула Софи и больше не нашлась, что сказать. – Так ты отнеси их тогда к Анатолию, и еще записку Элен надо оставить так, чтоб не прочел никто. Сможешь?

– Смогу, отчего же нет? – Вера пожала плечами. – Записка-то уж готова или писать будете?

1883 г. от Р. Х., 20 августа, где-то на просторах Великой, Малой и Белой Руси.

Здравствуй, душечка Элен!

Какая же у нас все-таки страна огромная! Я до сей поры и не думала как-то об этом, а теперь поглядела и даже страшно временами делается. Этакая куча земли, гор, речек, людей и всего-всего, и как-то все это одним домом живет, и дом называется – Россия. «Что пророчит сей необъятный простор?»

Помнишь, мы маленькими в королев играли? Я-то все хотела индейцем быть, как у Фенимора Купера, а ты не соглашалась, ну, я тебе и поддавалась, тоже королевой была. Ты говорила: вот бы и вправду царицей стать! Не хотела бы я быть царем, честное слово, и даже министром каким-нибудь. Я бы по ночам заснуть от страха не могла и все думала бы и думала, как она (Россия) там в темноте лежит и дышит... А я, царь, чего-то с ней сделать должна... Б-р-р!

А можно ли Маняше верить, что она письма на почте для тебя получать станет и не разболтает никому? Прислуга всегда болтает, лучше бы ты Афанасия попросила, он тебе предан, как пес. Правда, старенький совсем. Хотя, что напрасно говорить, моя Вера молчит все время, хотя и умная. Представь, душечка Элен, она те «размышления» римлянина Аврелия читала в библиотеке для народного чтения и «не во всем согласная» с императором. Умереть можно со смеху, правда?

За меня не тревожься, со мною все хорошо. Мсье Рассен такая душка, только в поезде от сквозняка простудился и приболел немного. Он рассказывает мне много интересного про историю, про людей и про жизнь вообще. Сколько несчастий выпало на его долю! Кажется, он поставил своею целью передать мне то, что сам понял и пережил. Я не возражаю. Я с ним в одном доме жила, а и не знала. Вот так мы снаружи на людей смотрим, а внутрь заглянуть и не пытаемся. И сколько ж теряем!

Вокруг столько интересных наблюдений можно сделать, но я, ты знаешь, не очень на это настроена и зачастую горячо жалею, что рядом со мной нет тебя или уж хоть Оли Камышевой. Однако даже во мне что-то меняется. Все эти версты, и лица, и нравы, выхваченные куском, парой фраз, сценой в придорожном палисаднике – все это как-то по-особому волнует меня. Да еще мсье Рассен с его разговорами... Временами я становлюсь какой-то серьезной и задумчивой, и сама себя не узнаю.

Впрочем, началось не теперь – еще в Петербурге, накануне. В день, когда уж все было решено, и вещи собраны, и с мсье Рассеном обговорили (поставили, что он будет меня выдавать за свою племянницу-сироту), я вовсе не могла спать. Поднялась рано, рано. Выбежала на улицу, когда еще и свет не устоялся, и небо словно моргало как-то, как, бывает, мигает фонарь, пока не разгорится. Шаги по мостовой гулкие, отдаются в губах, в самом сердце. Пробежала по Пантелеймоновской, по Фонтанке, словно гонится за мной кто. Выскочила на набережную, положила руки на каменный парапет. Он, противу ожиданий, теплый и шершавый, будто гладил кого живого. Взглянула вдаль. Крепость, рыбацьи лодки на стремнине, Биржа, колонны Ростральные – и все осияно небывалой какой-то зарей. У меня слезы из глаз брызнули, захотелось на колени пасть. Подумала: как же я все это покину?! Сто-

ять никак невозможно было, побежала прочь, мимо Марсова поля, к Фонтанке, по Невскому, по Малой Морской. Там вода голубая в каналах, дома серые с розовым – все словно очистилось. И людей нет совсем, как будто я одна на всем свете осталась. И город. Вдруг шаги. Из-за поворота выходит на набережную человек в крылатке. Смотрит прямо на меня, словно знает обо мне, улыбается. А я-то его не знаю! Но вот диво, как он подошел, заговорила с ним, будто со знакомым. Хотелось уж говорить, не удержат в себе. «Гляньте, – говорю, – Какое все вокруг! Все некрасивое, трищобное словно провалилось куда. Остались одни дворцы и призраки. И мы с вами...» Он вздохнул коротко, глубоко, как будто бежал прежде и запыхался, отвечает: «Как верно вы заметили. Непостижимый город! И истлевающая золотом Венеция, и вечный Рим бледнеют перед ним...» Так он красиво сказал. Я хотела дальше говорить, рассказать ему, но вдруг гляжу – его уже нет. Куда делся? Лицо у него будто чем-то на мсье Рассена похоже и на Родиона Раскольникова, как я его вижу. Человек, который много перенес и передумал о том. Кто говорил со мной? И был ли? Показалось на миг (даже ноги подкосились), словно это сам город со мной разговаривает. И как-то почувствовала вдруг – вот здесь жили мои предки, живу я сама, в каком-то непредставимом мире здесь будут жить мои потомки. И город будет стоять, и его душа (Genius loci) будет всех знать и помнить. И я, такая маленькая и глупая, сейчас удостоилась его, говорила с ним. Он признал меня... Ты знаешь, Элен, из-за папенькиного атеизма и ханжеской набожности маменьки и Аннет, у меня с Богом отношения сложные. Я бы, может, и хотела верить, да не могу. Все эти грехи, сквородки – душно, душно как-то. А тут – словно ветром морским повеяло, как будто не на берегу тухлой Мойки стою, а хоть на Балтике. Подумала – вот большее меня, вот перед кем я в ответе. Кровь к щекам плеснула, и даже волосы зашевелились.

К полудню только пришла в себя. Со мной ли было? Боюсь, что вскоре уж и ты не узнаешь свою прежнюю ветреную подружку, впрочем, любящую тебя неизменно –

Софи Домогатскую

В небольшом палисаднике отчаянно цвели хризантемы, аквилегии и тигровые лилии. Самые большие кусты были аккуратно подвязаны пенькой к обтесанным колышкам. Софи и мсье Рассен прогуливались – от скамейки под яблоней-дичком, вокруг овального цветника, мимо качелей, привязанных к двум крюкам, вбитым в стволы лиственниц, уже начинающих желтеть, опять к скамейке. Девушка осторожно поддерживала француза под локоть, иногда кокетливо прижималась к нему, чуть склонившись и пригнув колени, снизу вверх заглядывала в глаза (на деле они были почти одинакового роста). Оба старательно делали вид, что это он поддерживает ее.

– Смотрите, Софи, что у нас получается, – слегка задыхаясь, говорил на родном языке мсье Рассен. Черные глаза на потемневшем, высохшем лице казались огромными. – Мало чем можно удержаться в памяти людей надолго. Ничем – навсегда. Человек искал, страдал, метался, любил, но вот банальная опухоль или пастеровский микроб – и все ушло вместе с ним. Другой, не смыкая глаз, сжигал пуды свечей – писал труды своей жизни. Где они теперь? Истлели. Египетские пирамиды стоят много тысячелетий, но – мы не знаем имен их строителей, их нужд, мечтаний... Но вот! – француз остановился, назидательно поднял палец. Софи остановилась вместе с ним, развернула ладони как бы в немом вопрошании – при надобности он сможет опереться на них. – Каждый из нас, вот здесь, во плоти – живой памятник тем безвестным искателям, нашим предкам. Понимаете ли меня? Вот вы, Софи, чудесная трепетная девушка – вершина великой пирамиды. Ваши пращуров оборонялись от саблезубых тигров, на стенах своих пещер рисовали охрой сцены охоты, строили плотины во времена Египта, воевали с Троей или на ее стороне, участвовали в пелопонесских войнах, а во времена династии Меровингов...

– Кто-то из моих пращуров был самоедом, ловил рыбу и бил зверя здесь, в Сибири, – перебила француза Софи. – Или был мандарином в Срединной империи, о которой вы позатот

день рассказывали. Посмотрите, какая я раскосая! – девушка пальцами оттянула углы глаз. – Элен и Ирочка всегда меня дразнили. У них-то самих глаза круглые, как у спаниелей.

Мсье Рассен ласково улыбнулся ей, со всхлипом вздохнул и погладил по руке, стараясь незаметно обрести точку опоры. Софи тут же придержала высохшую кисть с четко обозначившимися на ней венами, подставила под локоть другую руку, не суетясь, подвела француза к скамейке, помогла сесть.

Отдышавшись, мсье Рассен о чем-то мучительно задумался, сведя над переносицей густые, почти не тронутые сединой брови.

– А вот поглядите, – привлекла его внимание Софи, пальцем указывая на большую улитку, медленно ползущую по спинке скамейки. – Она ведь тоже является вершиной пирамиды из миллионов улиток, которые ползали здесь еще до сотворения человека, кто бы его не породил – Господь Бог или та обезьяна от господина Дарвина... Так? Но в чем же тогда величественность, о которой вы говорите?

– Величественность, как вы изволили выразиться, заключается в том, что улитка не способна рассуждать о нас с вами, не способна познавать нас. Мы же, люди, – можем рассуждать о Вселенной, познавать ее и, естественным порядком уходя в основание пирамиды, передавать эти знания дальше, к вершине... Именно это я делаю сейчас с вами, милая Софи. В какой-то степени я выполняю завет вашего отца, делаю то, что не успел, или не сумел сделать он, но, признаюсь, и сам получаю удовольствие несказанное... Иногда мне кажется даже, что в этом есть что-то неправильное, незаслуженное мною, что я должен прекратить это, отослать вас назад, к родным...

– Об чем это вы говорите, я не пойму, – нахмурилась Софи.

– У меня нет детей, Софи. По крайней мере, таких, о существовании которых мне было бы известно.

– А! И вы учите меня, рассказываете обо всем, как рассказывали бы им, если б они были? Это я понимаю, – облегченно вздохнула Софи. – Но что ж тут дурного? Мне самой нравится. Я ни от одного учителя столько интересного за год не слышала, как от вас за неделю... А отослать меня, запомните, никуда нельзя, потому что я вовсе не почтовое отправление...

– Не сердитесь, милая Софи. Я знаю вашу неукротимость, но... поймите и вы: я мужчина да еще француз, мне неловко, что вы тетешкаете мою немощность, хотя и себе боюсь признаться, насколько ваше присутствие, ваш искренний к моим рассказам и размышлениям интерес, скрашивает печальное увядание жизни моей, доселе никчемной...

– Та-та-та! – Софи состроила презрительную гримаску и потрясла в воздухе пальцами. – Кто тут увядает? Подумаешь, простудились на сквозняке! Вот поправитесь и двинемся дальше...

– Я не поправлюсь, Софи. И вы это знаете, вам, верно, доктор сказал, да и так видно. *Facies Nurrocratica*. И я знаю. Не думайте, я никогда трусом не был и теперь не боюсь. За вас, Софи, мне страшно. Обещал, но не сумел оберечь, а теперь вы за мной ходите... Стыдно... Софи! Бросьте меня тут, езжайте домой, в Петербург!

– Мсье Рассен, вы ерунду порете! – зажмурившись, выпалила девушка. – Никогда я вас не брошу! Вы ж и вправду больны совсем. И раньше бы не бросила, а уж теперь, когда я вас как родного полюбила...

– Софи, девочка моя... Замолчи... Я не могу, не хочу, чтоб ты была здесь, когда... Послушай меня...

– Не собираюсь, – Софи уже взяла себя в руки и, как всегда, мыслила практично. – Пока вы больны, никуда вы меня не прогоните. Не думайте даже. Теперь вот что. Коли у вас настрой такой, так дайте мне сейчас ваши распоряжения. Может, надо кому написать, передать что, сообщить... В Петербурге или во Франции где-то.

Мсье Рассен тяжело вздохнул.

– Некому сообщать и некуда. Все нити порвались безвозвратно. Наверное, в этом есть свой смысл, но никому не пожелаю... Признаюсь вам, Софи, мне тревожно, и я должен все свое мужество собрать, чтоб с этой тревогой сладить. Я никогда в Бога, в загробную жизнь не верил, а вот Он мне в посрамление послал в утешение ангела – Вас, Софи...

– Ф-р-р! – прыснула в ладошку Софи. – Я – ангел?! Выдумали же! Сказали бы маменьке с Аннет, вот они над вами потешились бы!.. А вообще – кончайте хандрить, мсье Рассен. Чему быть, того не миновать, это верно, но только же стоит и побороться. Вы же француз, черт побери!

– Это правда ваша, Софи, правда ваша! – горячо воскликнул мсье Рассен и тут же раскашлялся, согнувшись.

Софи подала чистый платок, не удержалась, сморщилась, словно сама терпя боль, щекой потерлась об жесткое шерстяное пальто на плече:

– Мсье Рассен, миленький...

– Не зови меня мсье Рассеном, Софи. Меня зовут Эжен.

– Эже-ен... Красивое имя. У французов все имена красивые. Не то, что у нас, у русских... Добро пожаловать, Аполлинарий Феофилактович и Гликерия Тихоновна...

– Софи... В тебе так много огня, даже я, полутруп, живу возле тебя полностью каждое мгновение. И совсем ничего русского в тебе нет. Непостижимо, как этот ваш Петербург – камень, утонувший в чухонском болоте, тусклый город казарм, слякоти и туманов, сумел породить такое... Тебе надо было французенкой родиться. Твоя стихия – Париж, зарево революции, баррикады...

– Гильотина... – усмехнувшись, продолжила Софи.

Вспомнив рассказы мсье Рассена, она примерила на себя образ Марианны, живо представила себя на баррикаде, гневную и прекрасную, с обнаженной грудью против солдатских ружей... На мгновение эта картина захватила ее, но тут же сменилась обидой за свой город, который она видела совсем иначе, чем француз. К тому же, уезжая, она связала себя с Петербургом каким-то загадочным, не до конца понятным ею обетом, и сейчас сочла своей обязанностью вступить за его честь.

– Неправда ваша, Эжен! – напористо сказала Софи. – Париж ваш, должно быть, хорош, но Петербурга вы совсем не понимаете!

– Конечно, конечно, милая Софи! Каждая вещь в мире имеет две стороны. А уж такое сложное существо, как город... Ты не читала «Чрево Парижа» господина Золя? Для тебя я могу сказать по-другому: Петербург – удивительная раковина, притаившаяся в устье Невы, ее стены выстланы перламутровыми туманами. Прислушайся – бриллиантовые капли росы, которыми усыпаны на рассвете мраморные дворцы, поют единую симфонию с нежным жемчужным небом, склонившимся над прозрачной водой сонных каналов...

– Мсье Рассен... Эжен... Вы говорите, как поэт. Вы писали... пишете стихи?

– Было и это. Чего только не было... Наш французский гений, Оноре Бальзак говорил, что настоящими писателями могут стать лишь те, кто непрерывно чувствует страдания мира. Такими, по его мнению, следует считать изгоев и женщин. Я – изгой... Но у меня уж все позади. А ты, Софи, только вступаешь в жизнь. Если захочешь, сможешь стать писательницей, русской Жорж Санд.

– Я – Жорж Санд?! Стыдно вам, Эжен, смеяться над бедной глупой Софи...

– Я ничуть не смеюсь, Софи... Помнишь, ты рассказала мне про картинки с подписями? Когда ты научишься объединять эти картинки в единый сюжет и чуть больше узнаешь о жизни и людях, ее населяющих...

– Да ну, ерунда все это, что вы говорите! Все девушки стихи в альбомы пишут, а Оля Камышева так и вовсе – оды. Такие длинные, что слушать невозможно. Хотя складно. А я

никогда ни одного самого заваливающего стишка... А вы говорите – Жорж Санд! Если б знала, что вы дразнить будете, не стала б рассказывать ничего...

Говорила неправду. Потому что на исповедальную искренность угасающего француза хотелось ответить такую же искренностью. Но что рассказать? Ничего схожего по масштабу в коротенькой жизни Софи не имелось. Можно было бы рассказать о ее чувстве к Сержу, о золотом тумане, но, хотя мсье Рассен и казался единственным человеком, с которым можно было говорить обо всем абсолютно, что-то удерживало девушку от этого последнего шага. Софи постаралась, как могла, проанализировать возникающую несообразность, и довольно быстро поняла, что эта неловкость не имеет никакого отношения к Сержу. Вовсе не его и не свое чувство к нему оберегала она. Как ни парадоксально, но в данной ситуации она явно оберегала чувства Эжена. От чего? В этом месте анализ Софи зашел в тупик, и девушка, не привыкшая напрягаться в размышлениях, тут же забросила его, удовлетворившись тем, что потребные действия представлялись вполне ясными. Но проблема ответной искренности оставалась. Деловито покопавшись в себе, как модница роется перед балом в коробке с лентами, Софи без колебаний рассказала мсье Рассену о том, о чем никому прежде не рассказывала – о своей коллекции картинок из жизни. И вот, пожалуйста – Жорж Санд, видите ли...

– Пойдем, пожалуй, в дом, Софи...

– Вы устали? Простите меня, но только... – Софи упрямо выпятила подбородок. – Но только вам все равно гулять надобно, а то совсем залежитесь... Я лучше докторов знаю. Я не хочу...

– Конечно, конечно, девочка моя. Все будет, как ты хочешь. Ты – мой самый лучший доктор... А сейчас дай мне руку...

В просторной гостиной дома Скавронских на Гороховой сидели и вышивали на пальцах пятеро девушек. Впрочем, подлинно вышивала одна Элен, остальные только делали вид, да изредка лениво тыкали иглой в рисунок. За окном бесшумно падали первые крупные хлопья ноябрьского снега.

– А что же Домогатская? – спросила Ирочка Grimm, с хищным любопытством обозревая аккуратный пробор на склоненной головке Элен. – Никогда не поверю, что она о себе вестей не дает. Тебе-то уж должна была написать, если вообще жива...

– Софи жива, – ровным голосом сообщила Элен.

– Где же она? Как? С кем? – заторопилась с вопросами Оля Камышева. Ирочка бросила пальцы и торжествующе подняла палец:

– Я же говорила!

– И что? Она действительно с Дубравиным бежала? Какой скандал... – лицемерно покачала головой Мари.

– Запомните все! Софи уехала совершенно по другой причине и совершенно в другом обществе, – голос Элен звучал по-прежнему ровно, но внимательному уху слышалось бы в нем какое-то подозрительное дребезжанье.

– И что же, никакой любовной истории там нет? – разочарованно спросила Кэти – совсем юное существо с едва заметной косиной в правом глазу.

– Есть. Софи действительно повстречала свою любовь, – к удивлению всех присутствующих сказала Элен. Тон, которым она сделала это заявление, удивительно не соответствовал его содержанию.

– Как же так? Почему ты об этом говоришь, а у меня по коже мороз? – растерянно переспросила Мари. Потом испуганно зажала рот ладонью. – Он ее обесчестил и бросил, да?!

– Нет, он умер, – отвечала Элен и разрыдалась, уткнувшись лицом в недоконченную вышивку.

Глава 11

В которой Серж Дубравин видит себя мухой, а читатель подробнее знакомится с Машенькой Гордеевой

Сержу Дубравину снилось, что он – муха, увязшая в меду. Настоящая муха: с крыльшками, глазками, тонкими лапками. В мушине этой сущности не было ничего кошмарного, наоборот – приятно вспомнить, как носился в воздухе, среди невесомых солнечных пылинок! Кошмаром был мед. Пронзительный запах, ненавидимый с детства. Клейкая масса, в которой он барахтался, теряя силы, понимая уже: все, конец. Здесь и зароят, на бережку, под кедром... И еще – гигантская темная тень, наплывающая сверху, то ли туча гнуса – ну да, мухи вроде него, правда, без мозгов, зато с жалами, – то ли... Мухобойка! Маменькина мухобойка, вот что это такое. Ведь прибьет сейчас и не узнает, что это я, наследничек! А если и узнает – что, дрогнет рука?..

– Аришка! Дура, куда глядишь! Мухи, паразиты, все блюда засидели. Гости увидят – обплюются, все суаре насмарку... И полно, – маменькино визгливое сопрано вдруг поехало вниз, стремительно превращаясь в добродушный бас, – полно, однако, почивать-то, казенная лавка – не перина, бока пожалейте!

Серж удивленно вздрогнул и проснулся.

Первое, что он почувствовал, было облегчение: медом не пахло! Чем угодно другим: деревом, дегтем и сапогами, табаком и перегаром, даже плесенью – но не медом. И прекрасно. Он шевельнулся, пытаясь по этим запахам определить, куда попал, – бока и впрямь заныли, и не только бока, все тело! Да так, что он сразу все вспомнил.

Бессильное щелканье выстрелов, белое, будто из тонкой бумаги, лицо мертвого инженера. Стволы, стволы, сизые, бурые, черные. Круглые лакированные листочки, под которыми прячутся ягоды – невесть какие, то ли тотчас от них помрешь, то ли через час. Выставленные во все стороны сухие острия коряг. И – тьмы, легионы толкущейся, гудящей, жалиющей пако-сти! Точно, мухи вроде меня, и тоже без мозгов.

Господи, это ж и в самом деле со мной было, пробормотал он, машинально проводя ладонью по опухшему лицу.

– Вы, ваше благородие, – снова забасил кто-то рядом, – на нас обиды не держите. Места, однако, дикие, народишко лютый. Чуть недоглядишь...

– Лучше перебдеть, чем недобдеть, – буркнул Серж, опять таки машинально. Протер глаза и огляделся.

Увидел бревенчатую стену и в ней окошко, маленькое и до того заросшее грязью, что, кроме тусклого света, ничего в нем не разглядишь. Сбоку – низкий дверной проем, и в нем, согнувшись, ибо иначе не влезал, – могучий дядя, больше всего похожий на мужика только что от сохи, по недоразумению наряженного в полицейский мундир.

– Извиняйте, ваше благородие, – вздохнул мужик, – однако, пора. Иван Парфенович ждать не любят.

Иван Парфенович! Тот самый Гордеев.

Сержу до того стало не по себе, что все болячки заныли вдесятеро. Немедленной встречи с Гордеевым ему, однако, не предстояло. В просторном помещении, где мирно уживались закапанная чернилами конторка и по-домашнему закипающий самовар, Сержу предстал не он, а становой пристав. Вчерашним вечером (или днем? – последние часы до Егорьевска всплывали теперь в памяти невнятной мутью) сей господин, крепкий, как орех в тугой скорлупе,

держался весьма сурово. Орать не орал, но верить на слово пострадавшему отнюдь не соби-рался и все буравил его пронизательным взором, тщаь разглядеть под покусанной комарами личиной не иначе как самого Климентия Воропаева.

Сегодня все было по-другому. Сержу предложили кресло, чашку горячего чая с коло-тым сахаром, сочувственно объяснили, что в местной гостинице его ждет номер, а в номере – господин Пичугин, лекарь весьма знающий, не хуже петербургских. Расспросов о нападении вести не стали.

– Вам, Дмитрий Михайлович, нынче не до того, вам отойти надо, так сказать, душой-с, – объявил пристав, глядя на него едва не с любовью, – а там, глядишь, изловим молодчиков, так и вовсе вас тревожить не станем. Попутчика вот вашего жалко... как бишь его, – пристав покопался в бумагах, достал очень хорошо знакомый Сержу паспорт, – Дубравин Сергей Алек-сеевич. Ну, земля ему пухом. Это хорошо, что вы, Дмитрий Михайлович, догадались докумен-тики-то сохранить, не дали человеку сгинуть бесследно... Говорите, так они все бездыханные и лежали? И Дубравин этот, и кучер, и казаки?

Один казак, хотел поправить Серж – но промолчал. А любовный взор пристава сделался вдруг по-вчерашнему пронизательным – на миг; и тут же вновь погас, расплылся. Сержу стало совсем неуютно. Он подумал, осторожно берясь за чашку саднящими пальцами: и какого черта я все это затеял? Сибирские валенки, похоже, здорово себе на уме. Каков-то окажется Иван Парфенович?..

...Маша потянулась за шалью. Книга упала из-под руки – на пол, развернулась, посыпа-лись по сторонам листочки, ленточки, сухие цветочные лепестки. Зачем они там? Ну, да – есть у нее дурацкая привычка отовсюду, где удастся побывать, привозить какую-нибудь местную травку и засушивать. Вон тот бледно-розовый цветок – с иван-чая, что растет возле Мариин-ского прииска. Он там высоченный – вдвое против человека! И могучий, хоть топором руби. Папенька говорит: золотом питается, оттого и сила. А вон – сквозной листок, вроде папорот-ника, только нежный, тоненький. Заговоренная пижма. Алеша добыл у ненецкой шаманки – этой весной, когда Маша болела. Надлежало эту пижму особенным образом сжечь и окурить больную – что и было сделано; однако вот этот листочек сохранился.

Маша соскользнула с кресла. Стоя на коленях и придерживаясь за подлокотник, собрала рассыпанные листки. На глаза попались мелкие, налезавшие друг на друга строчки:

*«Гаснет на ветру свеча,
галки носятся, крича.
Вот опять пришла весна.
Я одна, одна, одна...»*

Ох, Господи! Маша почувствовала, как загорелись щеки. Вот растяпа-то. Знай, марает бумагу да рассовывает глупые вирши куда попало. А ну, тетенька увидит! Объясняйся потом. И не с ней – это бы ладно, так ведь она, тетенька Марфа, сама не прочтет – неграмотна! – побежит к отцу... На миг Маше стало вовсе муторно, она решительно скомкала листочки, хотела порвать... но вместо того вздохнула и аккуратно разгладила. Хоть и ясно, что вирши глупые, а рвать все равно – жалко. Убрать надо получше.

За низким окошком послышался шорох и дробный стук. Маша повернула голову. Синица! Бьет клювом по подоконнику, зажав лапками рябиновую гроздь, – а сама нахохлилась, будто от холода. И впрямь ведь – еще и первый снег не выпадал, а до того зябко. Надо сказать Аниске, пусть нарежет для синиц сырого сала. В саду и развесить...

Маша дотянулась до шали, укуталась, тяжело поднялась на ноги. В маленькой спальне было сумрачно, а на стене – чистый пунцовый отсвет заката, что горел за окнами, за перепле-

тением рябиновых веток. Маша слегка поморщилась, глядя на закат. Этот свет ее завораживал... и в то же время – хотелось немедленно от него избавиться, задернуть занавески, зажечь свечи, попросить, чтобы принесли душистого чаю или кофею, меду, свежих пышек – чтобы стало уютно и весело. А для полной благодати развернуть какое-нибудь сочинение, скажем, графа Ивана Чердынцева – и погрузиться в лабиринт необычайных походов злополучной Вареньки...

Она так и сделала: тщательно задернула занавески, вышитые васильками и незабудками, зажгла свечи – сперва в спальне, а потом и в соседней комнате. Эту комнату отец велел именовать будуаром, но Маше почему-то было смешно и неловко, и она звала ее горницей. Главное место здесь занимал рояль: огромный, благородного исчерна-шоколадного оттенка. Вся горница отражалась, как в бездонном зеркале, в его идеально отполированной крышке. У Маши этот рояль вызывал глубокое почтение. Во-первых, он много повидал – куда больше, чем сама Маша. Сделали его в славном городе на Рейне, а потом через полмира, сушей и водой – везли, везли, везли... Маша представляла, как ехал он на палубе парохода студеным северным морем. Хмурый, чужой всему, что вокруг, – точно, как и здесь, в доме. Сизые волны, низкое серое небо, чайки, выныривая из туч, садятся на ребра громадных ледяных гор. Приходит ночь, полыхает в черном небе радужное полотно северного сияния... И все это отражается в темной полированной крышке. Оседают и просачиваются глубоко... В звуки, которые кто-то когда-то, может быть, оживит.

Отец выписал этот рояль позапрошлой весной. Маша как-то обмолвилась: хорошо бы... И – вот, пожалуйста. Привезли, взгромоздили, – в верхнем чулане стену пришлось разбирать! – играй, Марья Ивановна, радуйся. А как играть?..

В Егорьевске нотной грамотой, кроме Леокардии Власьевны да Евпраксии Александровны Полушкиной, никто не владел. К Полушкиной не подступишься, а Каденька-то и не сказать, чтоб так уж владела. Все эти дамские, как она говорила, штучки – танцы, рисование, вышивание, – в ее глазах были презрения достойны. Любочка, Надя и Аглая – те, ясное дело, пришли в восторг и вместе с Машей рьяно взялись постигать секреты музицирования. Секреты, однако, оказались уж слишком упрямы. И восторг сестер Златовратских скоро поугас.

И осталась Маша один на один с этим черно-шоколадным зверем. Нет, она вовсе на свой счет не обольщалась. Имелась, конечно, французская книжка мадам Деже «Волшебные звуки или Как самостоятельно сделаться виртуозкой», объяснявшая, что нужно сделать так да эдак – проще простого! – если у тебя талант, а иначе лучше и к фортепьяно не подходи. Маша бы и не подходила... Но уж очень хотелось – во-первых; жалко было рояль, проделавший такой длинный путь и теперь вынужденный молчать – во-вторых. А в-третьих... узнает папенька, что ничего у нее не выходит, – огорчится ведь, поднимет шум, возьмется выписывать учителя откуда угодно, хоть из Парижа!

Маша знала – так и будет. И сознание того, что отец ради нее горы свернет, – оно, может, и грело, и радовало... но куда больше – пугало. Как пугал и сам отец – огромный, могучий, бесконечно любимый. Полный той неукротимой жизненной силы, какой в ней самой никогда не было.

Никогда, никогда. Даже в раннем детстве, когда у нее были вполне нормальные, прекрасно бегающие ноги. Она хорошо помнила это время. Как лазала по деревьям. Не сказать, чтоб с утра до вечера, но – лазала! И кидала сверху еловые почки в тетеньку Марфу. Тетенька причитала, а отец хохотал и подманивал:

– Эй, белка, белка, слезай, дам орешка!

Она, ухватившись за толстую ветку, глядела на отца и раздумывала: сейчас хохочет, а когда слезешь, не надерет ли уши-то? От ветки пахло смолой – так сладко, что прижаться бы лицом и вдыхать... а снизу плыл запах не менее замечательный: свежих стружек. Ими в тот год был, казалось, усыпан весь Егорьевск: Иван Парфеныч Гордеев строился! Строил вот этот

самый дом. Споро, во множество рук. Венцы так и взлетали к небу, словно сами собой. На лугу возле училища – там, где нынче хоромы для общественных собраний, – ставили столы плотникам и всем, кто пожелает присоединиться: праздник же! Стройка – всегда праздник. Жарили и пекли в основном лосятину да птицу, набитую местными эвенками под руководством вездесущего Алеша. Да... Алеша как раз тогда появился. Тихий был, по-русски едва-едва. Вырезал Маше из кедровой чурки медведика. Как живой: зубы скалит, башкой мотает, только что не рычит. Жалко, Петруша его потом разломал. Отец как-то сказывал – обмолвкой, – что Алеше многим обязан. Тот его на большое золото навел. Место, где теперь Мариинский прииск – это ж были глухие болота, гнилая чащоба непролазная. Никому и во сне не являлось там старательствовать, даже вездесущие золотничники¹ эти места стороной обходили.

Топей-то там и нынче хватает. На сто шагов отойдешь от поселка – и готово: со всех сторон трясина, только и остается, что по своим же следам назад – если сумеешь, – либо со всей мочи звать на помощь. Нет, имеются в тех местах, конечно, тропы – для тех, кто *знает*. Кто вон третьего дня почту на дороге остановил, кучера с казаками да с пассажирами убил, а прииск-вое жалованье – отцовы деньги – забрал до копейки.

Маша перекрестилась, глядя на огонек свечи, отражающийся, как в черном озере, в крышке рояля. Денег-то жалко... то есть не их – папеньку. Он ведь рвет и мечет, а потом (думая, что никто его не видит, а не тут-то было) за сердце хватается. Не дай Господь, повторится болезнь – что тогда?

Маша, зажмурясь, потрясла головой: не думать, не думать! И не убили там никого, все целы – побродят по тайге, да и объявятся! Ты, Машка, как птица страус, – объявил ей однажды, презрительно выпятив губу, Николаша Полушкин. Есть такая в африканской земле: как что не по ней, так она головушку в песок, и готово дело – спряталась. А все потому, что головенка-то маленькая, мозгов нет.

Может, он и прав, Николаша. Хотя давно прошли те времена, когда Маша любое изреченное им слово с открытым ртом брала на веру. Но даже пусть и прав. Каждый, в конце концов, живет как умеет. Она, Маша, *хочет*, чтобы эти люди были живы. И чтобы отец не болел. И как она хочет, так и будет, надо только помолиться покрепче. Не раз уже сбывалось. Она ведь знает, о чем молиться: не о том, что совсем невозможно (например, о том, чтобы ноги не болели!); а только о *реальном*.

Она шагнула к двери, чтобы позвать Аниску, но тут заскрипели половицы в коридоре, дверь открылась, и вошла – увы, не Аниска, а Марфа Парфеновна. Маше при виде тетенькиного черного платья и скорбно поджатых губ тут же сделалось, как всегда, неловко, будто только что ее любимую чашку разбила.

– Что свечей-то нажгла, – тетка почти с болью поглядела на бесполезно оплывающие свечи, потом – на Машеньку, – глаза все одно испортишь, вон, буквы-то у тебя в книжке как маленькие... Молоко-то пила на ночь ай нет?

– Я Аниске скажу, она принесет, – пробормотала Маша, надеясь, что тетка пришла только спросить о молоке и сейчас уйдет. Но Марфа Парфеновна, по широкой дуге обойдя рояль, отодвинула от него венский стул и уселась, аккуратно сложив на коленях квадратные жесткие ладони. И сразу стало ясно, что у нее – дело; просто так, на секундочку, тетенька никогда не присаживалась.

– Определяться нам надо, – заявила она, выждав полуминутную паузу, во время которой Маше полагалось задать вопрос. Но Маша никакого вопроса не задала и после ее заявления тоже промолчала.

¹ Старатели, промывающие золото в одиночку и продающие его в государственные лаборатории или, чаще, крупным золотопромышленникам.

– Определяться, – с отчетливым упреком повторила тетка. Отклика вновь не последовало, и она выразилась пространнее:

– Непорядок, что живем вот эдак-то. В доме хозяйка нужна. Я стара, за всем не услежу. Да и не здесь мое место.

Маша опять промолчала. Конечно, по-хорошему надо бы возразить, дескать, что ты, тетенька, какая старость, наш дом только на тебе и держится... Да к чему лишние слова? Теткины планы давно были известны. Женить отца, а не его, так Петеньку, сдать невестке хозяйство и, с легким сердцем – в монастырь! И точно так же давно было известно, что с легким сердцем тетка хозяйство не отдаст. И с тяжелым-то не отдаст. При том, что в монашки и впрямь хочет.

Ну, и к чему она опять об этом?

– Хозяйка нужна, – продолжала Марфа Парфеновна, – в прежни-то времена сынов не спрашивали. За ухо да в церковь, венчаться. Потапова Татьяна чем нехороша? Вот что, Маша, я твоему отцу думаю сказать... Да ты меня слушаешь?

Маша кивнула, глядя не на тетку, а на вязаную салфетку, прикрывавшую подлокотник кресла. Красивая салфетка, монастырской работы. Сквозные снежно-белые узоры, холодные, как воздух в келье.

– Я ему скажу: пусть Петра женит, хоть силком, хоть как. Ежели сейчас посватать, так на Покров бы свадьбу... А к Рождеству я и отбуду. Невмоготу мне, Машенька, тут, – теткин голос вдруг расплылся, утонул во вздохе, и Маша вскинула голову.

Нет, показалось. Марфа Парфеновна – такая же, как всегда. Прямая, скорбно-недовольная. Руки ровно лежат на коленях, из-под черного подола выглядывают широкие босые ступни. Господи, с растерянным удивлением подумала Маша, да что ж ее всегда так жалко-то? Чем жизнь-то плоха? Здесь – в тягость, а там будет ли лучше?

Она снова опустила голову – чтобы скрыть от тетких острых глаз эту жгучую жалость, с которой ничего не могла поделать.

– Ты-то – со мной али как?

Вопрос – ожидаемый, и ответ на него у Маши был. Еще отцу ответила – весной, когда задал его напрямик, испугав неожиданной болезнью. И тетке бы надо сказать: не хочу, не пойду, в миру еще не нажилась! Но как скажешь? Вот ведь грех-то.

Марфа Парфеновна умолкла. Видно, решила таки дожждаться ответа.

И Маша начала было говорить – о том, что сватовство дело нескорое, а Татьяна Потапова за Петеньку едва ли пойдет, так что покамест и решать нечего... наконец, прервавшись на полуслове, махнула рукой:

– Тетенька! Разве ж это по-божески – неволей? Потому только, что – надо?

– А то не по-божески? – тетка чуть подалась вперед. Лицо сделалось живым; и Маша поняла, что сейчас она выскажет то, зачем пришла.

– Надо, Машенька, так оно и есть: *надо*, – запнулась на миг – перевести дыхание, – я тебя пугать-то не хочу, да ты и без меня знаешь, что отец нехорош.

Маша встрепенулась – тетка заговорила снова, не дав возразить:

– Сам-то он себя не отмолит, как ни старайся. Да ведь и не старается, вот в чем беда... С меня тоже толк невелик. Что я? Стара, глупа, Богу помеха. Худо отцу-то на том свете будет, Машенька, худо!

– Тетенька! – Маша, не выдержав, повысила голос. – Вы же сами говорили, нельзя так! Накличете! И вообще... Почему ему будет худо? Он, что, злодей?

Она быстро встала, ухватившись за спинку кресла. Марфа Парфеновна теперь смотрела на нее снизу вверх – непонятым взглядом, то ли торжествующим, то ли жалобным.

– Золото, Машенька, золото! Ты за него кару приняла, крест несешь – ты и отмолишь!

– Ну, это уж совсем... – Маша едва не сказала «глупо», да вовремя осеклась. Вот, оказывается, что тетеньке вошло в голову. Богатство! И ведь не убедишь теперь. Все точно по Писанию: богатым в Царство небесное вход заказан.

Но почему – кара?

– Болезни-то твои с чего пошли, – тетка будто услышала ее мысли, – ты не помнишь, дитем была, а я-то...

– Я помню, – быстро перебила Маша. Ей вдруг стало страшно и невыносимо захотелось прервать тягостный разговор. – Только никакая это не кара, и золото не при чем. Тетенька, давайте мы потом решим, ладно? До Рождества еще далеко!

– Время пролетит, охнуть не успеешь. И решать, хошь не хошь, а придется.

Глупая птица страус, растерянно подумала Маша, глядя, как Марфа Парфеновна поднимается со стула. Зажмуриться, сунуть голову в песок, и – все, нет никаких забот и опасностей. Вот так их всех, этих страусов, и перевели. Наверно, ни одного не осталось.

...Осень в тот год выдалась поздняя – к Покрову снег еще не лег. Ветры да солнце, да короткие дожди, от которых таежные пути не успевали размокнуть. Отцова таратайка бодро неслась вперед, подскакивая на кочках, Игнатий встряхивал вожжи, громко чмокал, погоняя лошадей, а отец еще и подзадоривал:

– Наддай, наддай пуше! Не бойся, белка, дорога хороша, авось не перевернемся!

Перевернуться? Это с отцом-то? Маша смеялась, жадно вдыхая пряный осенний ветер. Быстрые облака бежали над головой, хотелось ехать, ехать и ехать – вот так, прижавшись к отцу, все дальше и дальше.

Они ехали на прииск. Маша в свои пять годков не очень хорошо представляла, что это такое. Вернее – кто: огромный мохнатый зверь, которого отец нашел в тайге и приручил. Звали этого зверя как ее: Мария. Значит, плохого ждать от него не приходилось. Тем более, что и отец относился к нему с особенной любовной гордостью.

– погоди, белка, сейчас глянешь – о-го-го, голова закружится!

Но поглядеть – так и не пришлось. Вернее, Маша только много времени спустя поняла, что гряда громоздких неуклюжих строений, возбужденные люди, крики, грязь под ногами – это и есть прииск. У нее и впрямь закружилась голова, и она растерянно смотрела по сторонам, выискивая взглядом: где же зверь? Спросить у отца никак не выходило: его тут же взяли в оборот, кто-то что-то доказывал, размахивая руками, и отец отвечал азартно и весело. Маша потихоньку отошла от него и двинулась вдоль дощатой стены, остро пахнувшей свежим деревом – в надежде все-таки отыскать зверя.

Где же он есть? Может, вон там, – где стена обрывается, под высокой плоской крышей из бревен, что опиралась на могучие кедровые сваи? Сидит себе в тени, а подойдешь, так возьмет да укусит! Маша вздрогнула и остановилась, потому что в тени за сваей и впрямь обозначился кто-то. Нет, не зверь! Она перевела дыхание – облегченно и разочарованно. Это был человек, обыкновенный мужичок в ободранной заячьей шапке и в армяке, подпоясанном веревкой. Лицо у него, с пушистой бородежкой, улыбочное, взгляд – ласковый.

– Ты чего гуляешь-то, а, малая? Гляди, зашибут.

Маша фыркнула. Ее-то – зашибут? Да разве отец позволит? Мужичок, поняв, засмеялся:

– А, так ты ж у нас Гордеева Марья Ивановна! Царевна Ишимская. Наше почтение!

Маша, почуяв насмешку, нахмурилась. Хотя с чего бы – насмешка-то? Как он сказал, так и есть. Мужичок протянул руку:

– Хочешь поглядеть, как тут чего? Давай, покажу. Видала, машина какая большущая? Вон по тем желобам вода течет. Ладно дело, моет породу, да золотишко-то на свет и проявляется...

Он говорил часто и гладко, голос журчал, как вода в желобах. Маша не успевала вникать в смысл речей, да и не пыталась. Просто было приятно, что ее водят как большую, показывают. Еще бы: царевна Ишимская! Задрал голову, она заворожено смотрела, как медленно крутится громадное колесо, вода, посверкивая на осеннем чахломе солнышке, срывается с лопастей, а над колесом – дощатая будка так ходуном и ходит, вот-вот обвалится, словно спичечный домик. Может, вот это и есть – прииск? Да вряд ли, машина – она неживая. А у зверя – коричневая шкура как у медведя, густая, теплая, и маленькие ласковые глазки. Вот как у этого мужика.

Сверху на них закричали: поди, не суйся! Мужичок потянул Машу за руку, она послушно пошла за ним, оглядываясь: где там отец? Он успокоил:

– Батюшку выглядываешь? Да куда ж он денется, батюшка-то твой, чай, он тут – главный! Все тут – его, и машины, понимаешь, и людишки, и самородки, и песочек золотой...

Мужичок вдруг запнулся – будто всхлипнул. Маше, невесть почему, стало не по себе, она дернула руку, и он сразу заторопился:

– Ладно дело, пошли, пошли к Ивану Парфеновичу... А вон, видишь: птица на ветке? Это, я тебе скажу, особенная птица, в самые что ни на есть ядреные морозы детишек выводит, и сам черт ей не брат. Давай-ка подкрадемся поближе да гнездо-то и углядим...

Мимо них проходили и пробежали люди, тянулись лошади, запряженные в телеги с тяжелой поклажей... а потом как-то вдруг оказалось, что – ни людей, ни телег, одни деревья, и звуков никаких, только шуршит под ногами палая листва, да голос мужичка частит ладно и гладко:

– Птицу-то мы споймаем... Иван-то Парфенович тебе и жар-птицу принесет, коли захочешь. Ладно дело! Он – все может. Золотишко вот открыл... Ты думаешь – он открыл? Или Алешка косоглазый? Они-то тебе так и скажут, а ты слушай! А Коську Хорька не слушай, у него, у Коськи, мозга за мозгу еще когда зацепилась, вот и мститесь невесть что...

Он вдруг остановился и – уселся прямо на землю, в грязь, не выпуская Машину руки. Она снова услышала всхлип, но на сей раз не испугалась. Стало ясно, что у мужичка этого какая-то беда, и она, Маша, нужна ему – чтобы пожалеть. Потому и зазвал ее в это безлюдное место, приманил птицей. Птица и впрямь трещала где-то в кедровых лапах, да до нее ли. Маша заморгала, чувствуя, как невыносимо щиплет глаза.

– А ведь мое золотишко-то, – мужичок поднял голову и поглядел на Машу снизу. Лицо у него было мелкое, красное и растерянное. – Если кто спросит, ты так и знай: я нашел. А они меня вот эдак, – он, отпустив Машину руку, сделал короткий судорожный жест, будто хотел обломать себе пальцы.

– Не надо! – Маша схватила его за руку, он тут же накрыл ее ладошку своей, корявой, как еловый корень.

– Да не буду. Не буду, вишь что – пороху не хватает.

Он поморщился и отвернулся.

– Поначалу-то – с ножичком ходил. Примеривался... Да ведь, если рассудить – кто виноват? Алешка-змей, что опоил? А не пей! Насильно-то не толкал. А против твоего отца-то, малая, и вовсе теперь зла не держу. Он – большой человек, у них повадка такая, все под себя грести – а как иначе? Нашел, понимаешь, старичка из благородных, оформил на него все. И старичку хорошо, и у Гордеева руки развязаны: добывай себе золотишко, хоть и не того сословия... Я б разве так смог? То-то, – он тяжело поднялся. Взял Машу за плечи и, повернув к себе спиной, подтолкнул:

– Давай, беги. Видишь, тропа-то к прииску идет. Хотел я отцу твоему беду учинить, да разве ж можно... Беги, беги.

Маша качнулась от толчка, еле устояла на ногах и, обернувшись, увидела, что убегает – он, мужичок. Да так споро, будто вот сейчас на эту самую полянку, окруженную темными кедром, выскочит зверь! Зверь – какой зверь? Маша испуганно огляделась. Зверь – добрый, у него шкура коричневая, мохнатая... Она дернулась было – за мужичком, жалость и страх

захлестнули так, что перехватило дыхание! Догнать его, ведь не уберется – зверь сожрет! Она побежала. Мужичка уже не видно было за деревьями, и Маша не знала, куда бежать. Ясно было только, что – надо, обязательно надо догнать его, иначе будет плохо всем, а больше всех почему-то – отцу.

Бежала она недолго – пока не споткнулась. Упала, сильно ушиблась о корягу, спрятанную в бурьяне, и заплакала. Жалко было, невыносимо жалко бедного пропавшего мужичка, которого теперь уж не спасти. Съедят! За себя ей почему-то совсем не было страшно.

Само собой, ее отыскали бы в пять минут – отошли-то они с Коськой Хорьком совсем недалеко от прииска. Да на беду, когда Иван Парфенович спохватился: где дочь? – тут же нашлась добрая душа, готовая услужить, и сообщила что вот только что видали Машеньку там-то – совсем в другой стороне. Туда и побежали. А Маша, наревевшись, встала и пошла было к отцу, – да следочки-то в грязи разве разглядишь, а все стволы и пни оказались на одно лицо...

Найти-то ее нашли. К ночи, когда совсем стемнело. Кто-то вспомнил, что видел хозяйскую дочку с пропавшим пьяницей Коськой Хорьком; а потом уж Тришка, приисковый пес, привел взбудораженных рабочих к маленькому комочку, утонувшему в гряде палых листьев. Этому Тришку Иван Парфенович потом кормил и холил на своем дворе до конца его дней. Хорек же с тех пор так и сгинул. Искали его, конечно, да не сказать чтоб с большим усердием. Указания такого Гордеев не давал. С Машенькой-то ничего опасного поначалу не случилось – так, вялая простуда, ночной страх да слезы непонятно о чем. Потом вроде поправилась... а спустя недолгое время поднялся вдруг жар, и отказали ноги.

Доктора и знахарки говорили разное. Остяк Алеша мигом собрался и привез шамана Мунука – тот уже и тогда славился тесной дружбой с добрыми и злыми духами. Мунук определил: костная гниль, злющие нгамтэру постарались. Дело трудное! Алеша рассказывал потом Машеньке, как Мунук ходил в страну мертвых – Бодырбо-моу – за ее душой.

Маша этим рассказам верила. Даже и потом, когда стала постарше. Она ведь и сама помнила, что побывала где-то... Там были сумерки и сырой туман – и много народу, только в тумане никого разглядеть невозможно. Маша ходила и вглядывалась в тени – искала. Этого мужичка с жалким лицом и пушистой бородой, в рваной заячьей шапке. Он там был, конечно, но она его не нашла.

Глава 12

В которой Иван Парфенович дает наказ слугам и готовится представить обществу нового управляющего. Здесь же рассказывается история семьи Златовратских

Для общественных собраний выстроен вплотную к училищу добротный сруб из огромных лиственниц, с крыльцом, сенями и клетью для всяких припасов. Тесовая четырехскатная крыша выкрашена веселым суриком. Две большие печи с изразцами позволяют сносно протапливать дом даже в самые лютые морозы.

Построен флигель по инициативе все того же Гордеева. Невелико егорьевское «общество», мог бы и у себя в хоромах принимать, места хватило б с избытком. И гостей Иван Парфенович, особенно по молодости, любил. Чтоб с размахом, чтоб водка-вино рекой, закуски с блюд вываливались, чтоб песни пели, разговоры разговаривали, а напоследок, когда уж сил калечить друг друга не осталось, можно и за грудки похвататься, пар спустить.

Но Марфе Парфеновне такие развлечения уж больно не по нутру были. Да и дети в дому без матери растут. Особенно Машенька, тростинка хроменькая, ей-то такое видеть и вправду ни к чему. А если, не ровен час, обидит кто?

А тут как-то прочел Иван Парфенович в Сибирской газете про Сперанского и его идеи. Дворянское собрание, купеческое собрание, развитие общественной мысли, местного самоуправления и прочее благорастворение воздушей... А мы чем хуже? Управлялись мы, конечно, и впредь управляться будем безо всякого Сперанского, а коррупцию, по-простому сказать – мздоимство, никаким декретом из русского чиновника не искоренишь. Не поставишь же к каждому по казаку с нагайкой. Да и казаки – те же люди... Но вот насчет собраний для развития общественности... Пусть и у нас будет. Купцов, правда, гильдейских в Егорьевске нету, да и дворян раз, да еще полраза... Ну да ладно, будет у нас собрание общественное, для всего общества, значит... Сказано – сделано. Купил потребного лесу, срубили плотники флигелек. Обустроивали всем миром. Теперь-то привыкли уж...

Днем в пятницу Иван Парфенович кликнул слуг. Они выстроились перед ним в ряд, выпятив грудь, как солдаты перед ротмистром. Особенно впечатляющей получилась грудь у Аниски – вот-вот выстрелит.

– Водки достанет? – грозно спросил Гордеев.

– Не извольте беспокоиться, – степенно отвечал Мефодий, старший из слуг не столько по возрасту, сколько по сообразительности. – Хоть пей, хоть мойся, на все хватит.

– А вина сладкого для баб...тьфу! Для дам?

– И это в достатке.

– А ежели кто в тарантасе приедет?

– Распряжем и обиходим по высшему разряду, – поторопился Игнатий.

– Ну, глядите у меня! Чтоб все было!.. А ты, Аниска, следи. Как все соберутся, проводишь сюда Марью Ивановну, поможешь ей.

– Да ну?! – Аниска вылупила пуговичные глаза. – Неужто Марья Ивановна согласилась пожаловать? Они ж с Марфой Парфеновной к всенощной собирались...

– Молчи, девка! – гаркнул Гордеев. – Не то за косу отгаскаю!

Аниска пискнула и прикрыла рот ладошкой. Мефодий позволил себе слегка ухмыльнуться и моргнуть в сторону хозяина: что, мол, с глупой девки взять?

– Иван Парфенович, разрешите мне Марью Ивановну доставить. Аниска глупа, как курица, рот раскроет, подружку встретит, еще чего... А Марья Ивановна у нас кротка, окоротить не сумеет.

– Нет, Мефодий, ты здесь нужен будешь для обустройства. Аниска справится. А не справится, так пожалеет...

После Гордеев ушел в дом, а Аниска извернулась и показала Мефодию острый, розовый, дрожащий как у змеи язык.

Первыми из гостей прибыли в тарантасе Златовратские. Сам Левонтий Макарович ходил до училища от дому пешком (да по чести сказать, там и идти всего ничего было), но барышни изволили хотеть кататься. Барышень Златовратских было общим числом три, но когда они собирались все вместе, или, положим, пихаясь и бранясь, вылезали из раскачивающегося во все стороны тарантаса, казалось, что их куда больше.

– А где ж свояченица моя? – спросил Гордеев Левонтия Макаровича, сторонясь от шуршащих нарядами барышень и провожая свояка в залу.

Зала, впрочем, уж не была совершенно пустой. В одном из ее углов сидел на толстом стуле плотный, достаточно молодой человек с козлиной бородкой. Вся его поза поражала какой-то изначальной стабильностью; казалось, что он сидит так от завоевания Сибири Ермаком Тимофеевичем и будет сидеть до наступления Страшного Суда. В руке с широким запястьем молодой человек держал зеленоватый стакан и медленно цедил из него водку, настоянную на золотом корне и брусничных листьях. Сам он почему-то именовал сей напиток аперитивом. Звали молодого человека Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, служил он учителем, наставлял в разнообразных науках егорьевскую молодежь, и тут же, при училище и проживал.

В другом углу стояли, размахивали руками и горячились в споре трое чем-то схожих между собой мужчин среднего возраста – самые крупные (после Гордеева) в Егорьевске подрядчики и ростовщики. Росли и матерели они вместе, и потому, в зависимости от поворота разговора, то называли друг друга уважительно, по имени-отчеству, то по давним кличкам, которые носили, когда были парнями. Один из мужчин занимался преимущественно казенными поставками соли, другой – брал подряды на лесоторговлю, а третий промышлял чисто извозом, но, понятное дело, не брезговал и скупкой и перепродажей пушнины и других товаров у жителей притрактовых сел. Красные, мокрые лица и всклокоченные бороды подрядчиков указывали на то, что, воспользовавшись поводом и местом для обсуждения своих деловых вопросов, они беседуют уже давно, и за истекшее время не раз отдавали должное брусничному «аперитиву». Возле спорящих мужиков мялся с ноги с ногу веснушчатый недоросль – здоровенная орясина годов этак на восемнадцать, удивительно просто, почти по-крестьянски одетый, и перепоясанный ярко-красным кушаком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.